

Дети Ра

журнал поэзии

5 (210)

2024

Международный журнал поэзии Союза писателей XXI века

Дети Ра

Сайт журнала <http://www.detira.ru>

ИЗДАТЕЛЬ

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
(Генеральный директор Евгений Степанов)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Александр Файн
Зураб Церетели

РЕДАКЦИЯ

Евгений Степанов (главный редактор)
Анна Романюк (1-й заместитель главного редактора)
Юрий Милорава (заместитель главного редактора)
Ольга Ефимова (редактор отдела поэзии)
Фёдор Мальцев (редактор отдела критики)

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Алексей Александров (Саратов)
Юрий Беликов (Пермь)
Сергей Бирюков (Москва)
Александр Давыдов (Москва)
Константин Кедров (Москва)
Евгений Минин (Иерусалим, Израиль)
Арсен Мирзаев (Санкт-Петербург)
Юрий Орлицкий (Москва)
Сергей Попов (Воронеж)
Евгений Харитонов (Москва)
Атнер Хузангай (Чебоксары)
Элана (Саратов)

Автор обложки — Мария Губарь

Компьютерная верстка — Ирина Ракитина

Телефон редакции: тел./факс: (495) 978-62-75

E-mail: stepanovev@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Евгений СТЕПАНОВ.....	5
-----------------------	---

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА НА КАРТЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ

Константин КЕДРОВ. Без неба я не существую. Стихотворения.....	6
Светлана ЕРЕМЕЕВА. На самом исходе лета. Стихотворения	16
Евгений СТЕПАНОВ. О личном горе не трубя. Стихотворения	21

ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Константин КОМАРОВ. Между строк. Стихотворения.....	24
Олег МИХАЛЬСКИЙ. Дыханьем пью твоё дыхание. Стихотворения	30

ПРОЗА ПОЭТА

Юрий КАЗАРИН. Немтырь. Думающий стихи. Роман.....	32
--	----

ДНЕВНИК РЕДАКТОРА

Евгений СТЕПАНОВ. Август–сентябрь 2024 года.	99
---	----

ЛИТОБОЗ

Павел ЩЕРБАКОВ. Обозрение литературных журналов	101
--	-----

РЕЦЕНЗИИ

Книги читали:

Павел ЩЕРБАКОВ («России дух неистребим», Сборник гражданской лирики поэтов МИД, творческих союзов, участников СВО, жителей Самарской области и воссоединенных субъектов Российской Федерации) Павел ЩЕРБАКОВ (Уильям Эрнест Хенли, «Избранные стихотворения»)	105
--	-----

Уважаемые коллеги и читатели!

Что такое поэзия?

У всех свое определение.

Но это точно — не гладко рифмованные столбики.

Поэзия — это новизна, то, чего ранее не было.

Надеюсь, именно такие стихи мы и печатаем.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

Константин КЕДРОВ

БЕЗ НЕБА Я НЕ СУЩЕСТВУЮ

Без неба я не существую
Когда о чем-то повествую
Но небо это тоже люди
Христос понравился Иуде

Иуда нравился Христу
За искренность и прямоту

Учителей не предают
Но по дешевке продают

И Леонардо горевал
Что ученик разворовал

Но вороватый ученик
В суть Леонардо не проник

Учителя не продавал
А потихоньку торговал

От совершенства далеки
Учителей ученики

Не понимает ученик
Когда учитель так велик

Да, это истина и знак
От Маяковского отрекся Пастернак

Что делать ход истории таков
Учитель предает учеников

Константин Кедров — поэт, критик, издатель. Родился в 1942 году в Рыбинске. Окончил историко-филологический факультет Казанского университета и аспирантуру Литературного института имени А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доктор философских наук, профессор Литературного института имени А. М. Горького. Издатель и главный редактор «Журнала ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член Союза писателей XXI века. Автор многочисленных книг и публикаций. Живет в Москве.

Закон истории изведен
Все преданы, никто не предан

Я в интернете не искал
На всех оскаленный оскал

Я злобу не воспринимаю
Я только ласку понимаю

Вы скажете, я старомоден
И ни на что уже не годен

Возможно, это старомодно
Теперь любить людей не модно

Но что мне мода и не мода
Когда любовь моя природа

Кто в наше время не озлобился
Тот человеку уподобился

Младенец нежится в утробе
Еще не ведая о злобе

О да, я горбился и гробился
Взрослел. Но так и не озлобился

Что делать если я угробленный
Уйду из мира не озлобленный

И все же более иль менее
Пойми мое недоумение

Скрипач на скрипочке играет
От счастья сердце замирает
Не плачь, любимая, не плачь
Играй на скрипочке скрипач

Жизнь закончилась мирская
Допускаю, допускаю
И не вызывает страха
Жизнь отшельника-монаха
Хорошо живет монах:
Он поэзии монарх

Я с поэзией в душе
Стал всемирный атташе

Я конечно понимаю
Что Всевышнему внимаю

Жизнь доверена экстазу
И кончается не сразу

Вовсе не кончается
Вечно начинается

Не монах я, а послушник
Жизни вечный непослушник

Это послушание
Как непослушание

Всегда всемирен, всегда безмирен
Я только Богу и Лене верен

И откликаюсь на отзвук лирный
Всегда безмерный, всегда всемирный

Твое учение не забыто
Спаситель, проданный на Авито

Но вряд ли нас чему-то обучат
Ученики, что друг друга учат

Войду влюбленный в твою обитель
Не ученик твой и не учитель

Стоит пустующий пьедестал
О нет, я верить не перестал

Не буду, Господи, лицемерить
Всегда я буду в Елену верить

Всегда во всем остается прав
Спаситель смертию смерть поправ

Я знаю это не мной устроено
Что лира мира на мир настроена

И эта лира средь многих лир
Всегда настроенная на мир

Да, сам не знаю почему
Я верен сердцу и уму

Сезам откройся, откройся дверца
Сердечный ум и умное сердце

Мир бессердечен, но разум вечен

Я в эту веру вочеловечен

И я все ночи напролет
Как Гаршин падаю в пролет

Пока гудит последний нерв
Как Рерих я стремлюсь вверх

Я знаю жребий мой измерив
По своему прав в мире Рерих

Я знаю, смертью смерть поправ
Прав Николай и Святослав

Пусть беснуется Америка
Не устареет вера Рериха

Хотя наш мир дисгармоничен
Я знаю — Рерих безграничен

Да в этом мире всюду траур
Он видел радугу из аур

Вот так спалив все пепелища
Сияет радугой Челищев

Мой дядя самых честных правил
Челищев Павел

Савл и Павел

Неопалима Купина
И в спектре спектра глубина

Я знаю глазу не дано
Увидеть дно где все одно

Я знаю мир дисгармоничен
И Шостакович в нем вторичен

Ужасен мир и не бескровен
Первичны Моцарт и Бетховен

Моя любовь всегда первична
А ненависть всегда вторична

Беда рифмуется с бедой
Вторичны ненависть с враждой

На скрипочке Эйнштейн играет
И красота не умирает

Я по-немецки не фирштейн
Играй на скрипочке Эйнштейн

Барахтаясь в потоках Риччи
Как Гулливер и Перельман
И я тону в потоках речи
Не завершив в стихах роман

Я знаю речь моя невнятна
Но любящим сердцам понятна

Я знаю истина нема
Бывает горе от ума

Ах, Боже мой, какое горе
Но Гулливер не тонет в море

Не тонет в море Гулливер
Он провозвестник новых вер

Все путы разума распутав
Гремит в оркестре Темирканов
Ты великан средь лилипутов
И Гулливер средь великанов

Пускай глумится изувер
Не тонет в море Гулливер

Гори сияй мой звезда
В туннель уходят поезда

Обманчив свет в конце туннеля
Пиши стихи, мели Емеля

Мели Емеля. На мели
Останутся все корабли

Заговорит во мне немое
У Лукоморья руки моя

Низы берут свои верха
Чтобы войти в размер стиха

Размеренный стиха размер
Для нас Гомер всегда пример

Я к вам пришел Гомером полн
Плыви мой челн по воле волн

Уходит поезд в Забайкалье
Ушла Алиса в Зазеркалье

Из моря выплывет Улисс
Попав в объятия Алис

О, океан, пойми Улисса
О, зеркало, пойми Алису

Любви всепоглощающая сила
Меня с земли на небо возносила
И та же сила — я всегда ей внемлю —
Меня с небес отправила на землю

Земля и небо встретились друг с другом
Я стал для всех помощником и другом

Угомонись неумолимый враг
Я только друг, я всем желаю благ

Есть сила непонятная благая
Изнемогая людям помогая

Изнемогая грусти избегая
Мы с ней живем друг другу помогая

Бог, я Тебе помог
А мне поможет Бог

Вот Камасутра, вот вам Аюрведа
Я знаю, ждет нас разума победа

И даже обезумевшего Разина
Я знаю, ждет в конце победа разума

Вы скажете безумье Разин Ленин
Да, это так. Но разум неизменен

Живи свободно радостно живи
Но разум подчиняется любви

Сияй любовь. Ее я славословлю
Земля и небо созданы любовью

Да, ненависть и злоба счастье рушит
Но мой покой безумье не нарушит

Я верю вам и вы мне тоже верьте
Взойдем при жизни, а не после смерти

Я много раз к вершине восходил
Как солнце — заходил и восходил

Вы скажете, с ума ваш разум сходит
Да, он как солнце — всходит и заходит

Все вместе красота и безобразие
Рождается миров разнообразие

В союзе красоты и безобразия
Рождается миров разнообразие

Мир образен когда разнообразен
Когда в объятьях тонет Стенька Разин

Опять закат зажегся и погас
По небу скачет огненный Пегас

Не в первый раз, отнюдь не в первый раз
На книжной ярмарке я вышел на Парнас

Зачем взлетает в небеса
Сияя крыльями оса
Затем, что там на небесах
Пегас, Пехасес и Пейсах

Джульетта вышла на балкон
Она для радости открыта
Куда ты скачешь звездный конь
И где опустишь ты копыта

Раскольников берет топор
Не завершился русский спор

Когда закончилась пора
Истории от топора

Вдруг о Шекспире все заговорили
Быть и не быть — я выбираю «или»
Что лучше — изумруд или сапфир
Я выбираю «или» — и воскрес Шекспир

Я соображаю словно рожаю
Никому на свете не подражаю

Стих мой существует без подражания
Как листвы таинственное дрожание

Все дрожит на дереве, все трепещет
Что-то предвещает и что-то шепчет

Стих возник из шепота и признания
Что слова приходят из подсознания

Лес трепещет и душа трепещет
На листве прощальный лучик блещет

Луч прощальный
Вечный и печальный

Сколько сразу вспыхнуло мгновений
Вечный повод для стихотворений

Лучик на листве не угасай
На поляне зайчик хokusай

О миг отраднй, миг отраднй
О сладкий зайчик шоколадный

Я зла не ведаю, не ведаю
Я только радость проповедаю

Комиссары по природе красные
Аксельбанты золотом атласные

Я одиночество внезапно полюбил
Поскольку я всю жизнь зависим был
Теперь живу один без имени без отчества
О, одиночество! Святое одиночество

Сны разгадывать не надо
Пусть они владеют нами
Оставайтесь с нами снами
Оставайтесь снами с нами

Где-то в дальнем переулке
 Я гуляю на прогулке
 На прогулке я гуляю
 И судьбу благословляю
 Что гуляю на прогулке
 Где-то в дальнем переулке

Перестань себя так вести
 Перестань сиять и цвести
 Или нет, продолжай сиять
 Устаревший, как буква «ять»

Отмененная буква «ять»
 Продолжай цвести и сиять

Продолжай говорить невнятно
 Все понятное непонятно

Я сегодня внезапно понял
 Что не понял себя, не понял

9 сентября 2024 г.

Светлана ЕРЕМЕЕВА

НА САМОМ ИСХОДЕ ЛЕТА

БАБОЧКИ

1

Белое. Красное. Желтое.
Воздух пронзительно-синий.
Черные точки. Молнии.
Зеленые. Золотые. Линии.

Над иглами трав движение
Легкое. Неземное. Прозрачное.
Многоуровневое преобразование
Из куколки, из имаго... в бабочку.

2

Красные, желтые, зеленые
Брызги
На крыльях застыла
Палитра лета
От красок взвивается
Головокружение
Колышутся
Заросли сухоцветов

Бабочки взлетают
К самому Солнцу
Бабочки с Солнцем
Сплавляются заживо
Сгорают
В вопль трансформируясь
Громкий
Из миллиарда душ
В одну душу
Сливаясь

3

Море бирюзово-белое
 Накатывает и отступает
 Волны пахнут елеем
 Прозрачная пена тает

Бабочка голубая как небо
 До самого горизонта распласталась
 В холодном мерцании ветра
 Крылья пронзила усталость

Море взлетает к небу
 На тысячи брызг разбиваясь
 На звезды делясь и планеты
 В бабочку вновь превращаясь

4

Город разламывается на кирпичи
 Рушится каменная вселенная
 Миллиарды огненных атомов
 Обрушивается в кипящую бездну

Из черноты вылетают бабочки
 Нежно-голубого цвета
 Космос мимикрирует
 Он оранжевый
 На самом исходе лета

В поле угасают цветы
 Бледно-желтые
 Мертвенно-красные
 Нет ничего в этом мире
 Отцветающих бабочек
 Прекраснее

5

Бабочки — шальные огоньки
Брызги волн морских
Безумное виденье
Крыльев вихри
Наперегонки
Улетают в центр пробужденья

И глаза горящие глядят
С разноцветных дышащих полотен
Бабочки уснувшие летят
Ветер в даль их дальнюю
Уносит...

ГОРОД

Город — лабиринт камней
Разноцветный калейдоскоп геометрии
Квадраты, кубы, пирамиды
Под солнцем, дождем, ветром.

Железные цветы и птицы
Каменные стены украсили
Богов и полубогов лица
В калейдоскопе стеклянном
Расплавилась

Крылатые люди летают
Над остриями скал
Из кирпича и металла
Отражаясь в миллиардах зеркал

В РАСПАХНУТОМ ОКНЕ

Открой окно
 Почувствуй запах моря
 Зигзаги волн блуждают в небесах
 Цветет сирень
 И спят ночные Боги
 На гребнях ветра
 В дымных облаках

Открой окно
 И город словно эхо
 Войдет в тебя
 И сгинет в глубине
 Проймет насквозь
 Теперь ты с ним навеки
 Один из всех
 В распахнутом окне

ИЛЛЮЗИИ

Окно распахнуто
 Я слышу голоса
 Бренчание трамваев
 Шелест шин
 Неслышный плеск реки
 И небеса
 Мне посылают
 Гулкий звон вершин

Окно распахнуто
 Я вижу вдалеке
 Людей спешащих
 В сотни направлений
 Нагроможденье
 Зданий, Кораблей
 Машин, Трамваев
 Заводные звенья

Настанет ночь
И я увижу небо
Как деготь черное
Глубокое как море
Там где-то высоко
Бушуют ветры
А здесь внизу
Иллюзия покоя

ПТИЦА

Из тишины ночной
Струятся голоса
Как будто птицы белые
Взлетают
Едва слышны
Таятся в небесах
И в гущу снов безбрежных
Улетают

Я различаю
Среди белых птиц
Одну единственную
Неземную
Ту, что поет
У призрачных границ
И ждет меня
Надеясь и тоскуя

Евгений СТЕПАНОВ

О ЛИЧНОМ ГОРЕ НЕ ТРУБЯ

ДИАЛОГ ДВУХ ПОХОЖИХ ДРУГ НА ДРУГА ЛЮДЕЙ

— Грехи-и-стыд... Такая глыба,
Что сдвинуть очень тяжело.
Убей меня — скажу спасибо,
Когда стрельнешь — я не трепло.

Грехи-и-боль. Юдоль. Утрата.
Живу, себя во всем виня.
Душа сама собой распята.
Прошу тебя — убей меня.

— Нет, не убью. Ведь не палач я.
И ни в кого я не стрельну.
Жизнь у тебя и впрямь собачья,
Но выть не стоит на Луну.

А стоит жить и верить в Бога,
О личном горе не трубя,
И полюбить других немного,
И полюбить чуть-чуть себя.

2024

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель, режиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и координатор портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

А ВСЕ-ТАКИ

В дурдоме нет, увы и ах,
И пяди неба. Волны света
Здесь стали жертвами запрета.
И — только звезды на плечах
Заезжего авторитета.

И голод трудно побороть.
И холод — темными ночами.
Дурдом — не Канны, не Майами.
А все-таки и здесь Господь,
Как санитар, следит за нами.

1986, 2024

ДУША-ВОРОБЫШЕК

Душа-воробышек
летает,
где желает.

2024

ОГОНЬ В МАНГАЛЕ

горение
тление
зола-удобрение
превращение
в будущее растение

огненное движение

2024

ВО МНЕ*Н.*

Люди думают, что ты умерла.
Но мы с тобой знаем, что это не так.
Ведь ты живешь во мне.

*2024***ЖИВУ СЕБЕ И ЖИВУ**

Не имею героической биографии.
Не имею огромного состояния.
Не имею великих способностей.

Живу себе и живу.
Никому ничего не должен.

2024

Константин КОМАРОВ

МЕЖДУ СТРОК

* * *

Глушит слух одинокое пенье
не заметившей лески блесны.
Как гиены на запах гниения,
на усталость слетаются сны.

Им привычка дана к темной пище,
к монотонному злему труду,
дух напрасно покоя в них ищет,
словно жаждущий — воду в аду.

Заплутав в их густеющий ельник,
зренье разное видит окрест:
кто там — висельник или насельник
этих Богом не тронутых мест?

Я повадку их склизкую знаю
и себе говорю наяву:
узнаю тебя, смерть, принимаю,
но, пожалуй, еще поживу.

Константин Комаров — поэт, литературный критик, литературовед. Родился в 1988 г. в Свердловске, окончил Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина. Кандидат филологических наук. Как поэт и литературный критик публиковался в литературных журналах «Дружба народов», «Знамя», «Урал», «Звезда», «Дети Ра», «Нева», «Октябрь», «Новый мир», «Вопросы литературы», и др. Постоянный участник Форума молодых писателей «Липки» (2010–2023). Автор нескольких книг стихов («Почерк голоса», «Только слово», «Невеселая личность», «Соглядатай словаря», «Фамилия содержания», «Безветрие», «От времени вдогонку») и сборников литературно-критических статей «Быть при тексте», «Магия реализма». Член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра. Победитель «Филатов-феста» (2020). Лауреат премии «Восхождение» (2021). Финалист литературных премий «Дебют» (2013, 2014), «Лицей» (2018, 2021), «Новый звук», «Белла», Премии им. Бажова и др. Лауреат премий журналов «Нева», «Урал», «Вопросы литературы».

* * *

Не столько правда, сколько просто свет,
обычный свет глаза с утра мне колет,
и сердце колет — да — от сигарет,
а — нет — не от трагической юдоли.

И я верчусь стыдливо на пупе,
и чувствую себя, как муха в супе,
как будто едешь с молчуном в купе
да плюс еще с печальным трупом в купе.

Чьей силой, написав свой первый стих,
я из пространства мирного был выдран
и погрузился незаметно — псих —
в округлую тоску вселенских рытвин?

И метафизика зачем мне портит кровь,
а рефлексия засоряет лимфу?
Где тот момент, когда ушла любовь,
когда я променял ее на рифму?

Ничьей. Нигде. Ничто и никогда
неизъяснимо в этом слове плоском...

И падает фанерная звезда
над мутным, непроснувшимся Свердловском.

* * *

Снимая пленку снов с зеркал,
я уподоблен Пану Кляксе.
(Я знаю, как меж них мелькал
и амальгаму белым красил.)

Я помню их зеркальный шифр:
замотанный стеклянным шарфом,
я шел спокойно, не спешил
и «здравствуйте» знакомым шамкал.

Явился шифер — фонети-
чески почти фатально.
(Сквозь зеркала трудней идти
с крыш в отражении асфальта.)

Приятно, что такое — сон.
Скажи мне, что такое детство.
(Позавчера просыпал соль
и кто-то умер по соседству.)

И что сказать про свет? — Он бел.
Он тоже был, со щек стекавший.
(Заказывай мне на обед
те разноцветные стекляшки!)

А на уставшей мостовой
мелькал мерцающий котейка.
За этой гранью основной
я пуговицей стать хотел бы.

* * *

Сколь это грустно и непросто,
усек от раза к разу ты,
срезать кристальные коросты
с ушедшей напрочь красоты.

Теперь не ваша тетя. Здрасьте.
Ведь чувство — это серп, ум — рожь.
От старости, а не от страсти
ты не умрешь. Или умрешь.

* * *

Старт стерт, зато отчетлив финиш,
раскровлен ветреный флажок,
коль обожания не видишь —
оно тебя не обожжет.

Пока завернут в синкретизм
 предельных слов, как фарш в долму —
 отодвигаешь кретинизм
 на улице и на дому.

Раз по следам босых событий,
 прервавши храп, приходишь в храм,
 то в суете ночных соитий,
 поделишь все напополам.

Но воду мыльной горстью пеня,
 вдруг крикнешь, не стерпев огня:
 «Читайте Александра Меня
 и отвалите от меня!»

* * *

Шершава воздуха кирза,
 плов звездный падает в казан.
 Не верю в то, что я сказал,
 но в то, что я хотел сказать.

Повсюду фантики — фантом
 сокрытых смысловых конфет,
 я оставляю на потом
 ту мысль, которой даже нет.

Пред кем мне рифму преклонить?
 Кого той рифмой проклинять?
 Померк румянец тех ланит,
 что так хотелось целовать.

И больше некуда расти —
 хоть в направленье боковом.
 И в собеседниках — лишь стих.
 И больше нету никого.

* * *

А жизнь очень коротка,
а между строк — несметна.
Я видел два живых цветка
за пазухой у смерти.

Она шла с ними под дождем
и чуть дождя касалась.
Я абсолютно убежден,
что мне не показалось.

С тех пор я очень молчалив
и сумрачно непрочен,
но силою густых чернил
везде рассредоточен.

И мне не страшно наяву
идти к себе кругами
и видеть как не-я живу
в безглазой амальгаме.

* * *

Я разобрался с личным адом,
признав, что он и есть мне — дом
и строк своих ветвистым садом
неспешно ухожу в Содом.

Но посреди густого хора,
где гибнет не герой, но хор —
разгрузки вечная Гоморра
мне не по кайфу до сих пор.

* * *

Горят бутылочные розы
в свердловской молодой ночи,
заходят юные морозы,
а ты — скрывайся и молчи,

сиди, не совершай ошибки —
она уже совершенна —
но тех, кому еще паршивей,
не более, чем до хрена,

воткнись уже меж винных пятен
в ковер и видь цветные сны.
А мир вокруг — невероятен —
от первой до второй стены.

* * *

Тонким-тонким порезом,
будто бы от осоки,
дым проходит по рельсам —
золотым и высоким,

и умчавшийся поезд
не вернется обратно.
Мир — беззлобен и порист —
устоит, вероятно,

оттого, что, рифмуя
эти строки беспечно,
твоего поцелуя
буду ждать бесконечно.

Олег МИХАЛЬСКИЙ

ДЫХАНЬЕМ ПЬЮ ТВОЕ ДЫХАНЬЕ

* * *

рай небесный посетили
воду мертвую испили
по земле бежим нагие

никого не надо нам
ничего не нужно
все гулять бы при луне
видеть сон жемчужный

в голове твоей девичьей
шум лесов трезвоны птичьи
ходят облака

дыханьем пью твое дыханье
целую милое прекрасное лицо
в глазах то радость то страданье

* * *

Черная бабочка-
смерть
кружится
в черном дыму
бархата
ночи:

садится
и пьет
кровь мою
золотую
поэта.

* * *

зима — белая тюрьма
ночь — черная тюрьма
закат — красная тюрьма
жара — оранжевая тюрьма
вечер — желтая тюрьма
жизнь — зеленая тюрьма
небо — голубая тюрьма
море — синяя тюрьма
сумерки — фиолетовая тюрьма
смерть — золотая тюрьма

Юрий КАЗАРИН

НЕМТЫРЬ. ДУМАЮЩИЙ СТИХИ

(Роман)

Продолжение. Начало в №№ 5, 6, 2023, №№ 1, 2, 3, 4, 2024

Свобода просвещает — общество (любое!) протемняет. Мракобесие — светлюбие — свет — тьма-пустота. Светобесие общества (любого) — не в несправедливости, а в замутнении тишины, пустоты и света... Еш конфеты в шкафу. Ни чта ни паделаиш...

Заблудился ты в небе — что делать? Думать стихи, чтоб раздался и шире и выше отзвук неба во всю твою грудь.

Иван стал попивать водочку, выпивать и, наконец, пить. Будто начал он праздновать Бесконечный День Зависимости от водки и табака. Юля молчала, но смотрела на Ваню — уже постоянно — то ли равнодушно, то ли холодно, то ли как на некое нечто, выполняющее обязанности мужа-немужа, отца-неотца, а ничтожного полудурка деревенского, немтыря или полунемтыря-заику, запинаку, вынужденного молчуна, — и была, конечно, права: с точки зрения уралмашевской банальной эрудиции, ее, становящийся бывшим, муженек оказался ничтожеством, никтожеством и уродцем. Ваня никогда не говорил, не рассказывал ей об армии и проч. Он молчал, как положено немтырю. Он теперь был не морпех, а морпес, живший на три хозяина и служивший им верой, надей и любой. Он старался для семьи: работал, приносил деньги — это раз; во-вторых, он постоянно бывал у Майи; в-третьих, он непрестанно думал стихи, и они действовали на него как глубинное кровообращение — этот словесно-музыкальный кровоток не позволял Ивану застрелиться или просто помереть. Он старался не думать о разводе. Хотя поводы были — взаимные: сначала Юля после первого курса уезжает в топонимическую (регулярную) экспедицию, влюбившись в юного доцента Олега, который через десяток лет станет священником и отцом семерых детей. Куле было полгода. Мать отняла ее от груди — и свалила. Дочь осталась с зятем ее мамы — зять-не-дать-не-взять, как говаривала старшая Гололобова. Юля младшая кричала от боли месяц — отит. Потом прошло — и вернулась топонимическая мать («мать-горемать», как выражалась Катя, свекровь любительницы ономастики). Будто ничего и не было. Ваню оставили на кафедре ассистентом. Юля пошла в РИО УПИ. Но быстро ушла: зрение сильно

Юрий Казарин — поэт, прозаик, исследователь поэзии, языковед. Автор нескольких книг стихотворений и прозы. Стихи публиковались в периодике в России и за рубежом. Профессор, доктор филологических наук. Живет и работает в Екатеринбурге.

минусило, почти по-заполярному. Решили: не работай. Сиди с дочкой. Во — кайф! Сидела-то бабка Юлина, она же прабабка Кули. Такая вот приключилась... Эта... вот.

Брат Вани Андрей женился на кассирше из магазина имени хлеба. А потом вдруг после армии (водитель, в Чите) — стал милиционерским водилой: от ППС и ППМ до личного шофера начальника городского УВД полкана Шубы (Шубин, да? Такой вот Одеждин, нет верхнеодеждин). Андрей превратился в толстого мента, слегка заикающегося и плавающего на звуках «р» и «л», особенно на мягких их вариантах. Он и подарил Ване «Вальтер», пистолет, конфискованный в процессе то ли задержания, то ли обыска злодея.

Ване стукнуло двадцать семь, и он оказался в запое, глубоком и одиноком: сидел в однушке один — все уехали на дачу в Черноусово (недалече от атомной станции — чистое, блин, место). Ваня жил с котом Жуликом, серо-полосатым и пушистым, очень больным: он страдал черт знает чем уже год. Врачи, звериные и человеческие, не помогли: рак желудка или еще что-то ракообразное в почках. Кот страдал. Он плакал — слезами из глаз. Он стонал. А иногда повизгивал. Иван выпил бутылку водки из горла — ночью. Взял Жулика и пистолет. Унес кота в лес. Они сели рядом. Костерок — махонький и неяркий — притянул глаза Жулика, и Ваня увидел в них такое *страдание*, что разрыдался. Он застрелил Жулика. Выкопал ножом могилку. Закопал. Прикопал — посадив над тем, что было Жуликом, малюсенькую рябинку. Потом вбил в землю рукоятью пистолета вешку — рядом с могилкой. Найду? Найду. Не здесь — так *там*.

Дома он добавил еще бутылку. Плакал. Писал два письма: Майе и Деду-Бабушке-Кате — о том, что не может так жить. Он писал о щенках песцовых, которых не убил, когда помирал с голоду в тундре: «выпускной экзамен» в ШР/РШ — четыре недели в тундре, один, у тебя только ночи. Пройдешь пять КП — и выйдешь, — хорошо. Нет — тоже хорошо: найдут вертолетом и отправят в роту охраны. Он поплакал. Проплакал все, что болело. Ан нет — еще ведь думались стихи. Их-то как выплачешь?.. Он сел на диванчик Кулькин и выстрелил себе в висок — осечка. Второй раз — осечка. Третий — опять осечка... Так и уснул, сидя на малом диванчике со стволом в руке. Под утро приехал брат Андрей. Разбудил. Увидел пушку.

— Три осечки, Андрюша... — Андрей вышел на балкон и выстрелил:

— Кто-то не хочет твоей смерти. Кончай ты с этим. Давай-ка лучше намахнем. Я принес.

Выпили. Иван уснул. Проснулся — ни Андрея, ни пистолета... Ни кота. Только лес в глазах да Жулик, рябинка...

Ты стоишь у окна. Куришь. Видишь серебряные емкости с надписью «Пропан! Огнеопасно!», помойку, гаражики, каре старых и юных тополей, каре асфальтовой ленты на земле, палисадники в тылу трех пятиэтажек, турники, бельевые веревки, деревянный открытый хоккейный корт (кои были в каждом дворе), три песочницы с грибками и кусками сочинского пляжа, скамейки, на них — старушки в белых и светлых платочках, — и все это рушится — вверх, уносится в небо, обдирая твою морду и сквозь тебя вырывая нутро, — все течет и мчится на сухую в небо: впору ощутить себя — не унесло ли тебя на хрен отсюда... Все — рухнуло. Рухнуло. Но не вниз, а ввысь. Любовь? Конечно. Стихи — в тебе и в небе. Мир людей убил тебя? Да. Что остается? Остаются стихи. Ты

застревал между миром людей (семьи, друзей, сослуживцев, коллег) и миром твоим — миром книг, стихов, души, ума, сердца, предчувствий, снов и разочарований. Разочарование — это исчезновение тебя прежнего, грядущего, бывшего и воскрешение тебя исходного, коренного, настоящего. Это — больно. Да. Тогда, уже лет пять назад, в Москве, в Дни Аверинцева, ты поднимался в лифте на черт знает какой этаж и чуть не плакал от духовной и нравственной правды Сергея Сергеича, впитанной тобой залпом: поток — втекание Ее происходило неделю. Но... На стенках лифта было много надписей, но выделялась одна, писанная черным фломастером, жирно: «СЕГОДНЯ ТОЧНО НАПЬЮСЬ». Чтобы заслониться толщей хмеля от мира людей. Да? Ты, сука, стрелянный, битый, судимый (неправедно!), грешный, грязный и чистый — стихами, преподаешь, да?! Да?! — Нет: ты вернулся в себя. Ты немтырь. Терпи, парень. Терпи, старший матрос. (Или — лейтенант запаса, замкомроты по молчи-молчи, военкоматские мудрецы запихали тебя, немтыря, в военные пропагандисты и в стукачи, да? Хрен вам!). Ты стоишь между двух зеркал: слева семантика, справа форма. Форма мира людей. Бессодержательная, но — о, чудо! — функционально мощная. Пока мощная. Скоро все рухнет. Упадет с неба на Россию — вот тогда начнется Вторая Гражданская война. Война Девяностых.

Ты работаешь ассистентом на кафедре современного русского языка. Ты счастлив. Вера Васильевна всем жэнщинам говорит постоянно: «Не трогайте Ваню: он пишет стихи, и у него мужская научная логика; он мыслит, а не компилирует, не имитирует; не трогайте Ваню!..» Ты идешь по длинному филфаку на свою первую лекцию по курсу «Культура речи», идешь к вечерницам (на пятом курсе вечернего отделения — ни одного самца), открываешь дверь в аудиторию (а. 338), здороваешься. Проходишь к трибуне. Ты читаешь стоя, но через тридцать пять лет будешь делать это сидя: позвоночник, раздробленный прикладами и сапогами вертухаев, хохлов, уже не держит; и ноги простреленные болят — *болят*.

У тебя — эротический шок: на курсе сорок девиц, девушек, женщин и одна старушка. Все — не просто красивые, они — прекрасные, они — это тебе двадцать семь, они — это ты сваливаешь, уже полусвалил из мира людей... Ушел, двинул, возлетел, вынесся в свет небесный. Несмотря ни на что. Женщины — свет небесный. Несмотря ни на что. Они — свет небесный. Болезненный и прекрасный, — гибельный! Они — женщины: цвет и свет небесный, и занебесный, и поднебесный, и внебесный, но — небесный...

*Цвет небесный синий цвет
Полюбил я с детских лет
Раньше он мне означал
Синеву иных начал...*

Нет, не так. Нужно:

*Цвет небесный синий цвет,
Полюбил я с малых лет
В детстве он мне означал
Синеву иных начал...*

...

*Он прекрасен без прикрас
Это цвет любимых глаз...*

Да у женщин — у всех — глаза любимые — и тобой, и другими, и любовью. Любовью любимые глаза...

*Это взгляд бездонный твой
Напоенный синевой
Это цвет моей мечты
Это краска высоты
В этот голубой раствор
Погружен земной простор...*

«Твой»? — Чей — «твой»? Нет, не Юлин. Все — оторвался от нее. Сорвался. Отлетел. Улетел. Это краска муки, одиночества желанного и одиночества проклятого, губительного: это краска, льющаяся из сердца — в глаза, в уши, в сердце иное, в небо.

*Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих...*

Ты, засыпая, часто ловишь в своем головном мозгу странные, повторяющиеся все чаще словечки, фразы, словосочетания, вроде таких: «И получил пулю в лоб» или «Она была вся голая», «Мы убиты, но сражение (бой) выиграли», или «Иди ко мне», «Пукнул в себя в знак уважения к обществу», или «Пукнул в себя в знак уважения к собранию братьев по перу», или «Песнь Плачем», или «Плач Песней», или «Великое предназначение», или «Долбаная антиципация (предвосхищение)», или «Сегодня точно напьюсь», или «Он обнял ее», или «Сколько тусовок — столько литератур», или «Осторожно, русские!», или «Наша баня тесом крыта...» и т. д.

Ты стоишь за кафедрой-тумбой-ящиком, на котором лежат твои записи лекций, иллюстрации — языковые, стилистические, речевые. Ты смотришь на сорок красавиц — и вновь ощущаешь эротический отрубон, обморок, — эротическое отчаяние, которое подкреплено страхом заикания. Зрение твоё, слух, все рецепторы и голос — разделяются и существуют автономно, независимо друг от друга, от ума, от плана лекции, от желания все это начать и поскорее закончить... Голос... Заикание... Онемение. Немчура, да? Немтырь... Но! — ты, вдруг и неожиданно для себя, начинаешь звучать. Женская аудитория уже была готова к продолжению и продлеванию до вечности твоей немоты: она, недоумевающая, любовалась тобой. Любовалась тобой и твоей робостью, и твоей растерянностью, и твоему эротическому провалу в чужой человеческий, женский космос. Любовалась твоей убитой любовью (все в универе все знали), любовалась твоей влюбчивостью (тоже знали), работающей вхолостую. Любовались фигурой военного, боевого товарища (догадывались: бабы, особенно женщины, чувствовали все — и твое прошлое, и настоящее, и грядущее). Любовались

черной бородой, светлыми волосами на голове, горбоватым носом, шрамами над бровью, на щеке и тонким шрамом, пересекавшим, мягко и нежно, твой нос — не нос, а хрен прирос, как говоришь ты сам. О себе. Это нормально.

Ты начинаешь каждую фразу с «э-э» (чтоб не заикнуться на взрывном, свистящем или гласном, особенно «и»), с хмыканья, с улыбки, с шутки — глазами, глазами, глазами... Но — ты говоришь! Правда, трудно думать сразу о многих вещах, а говорить о культуре речи: ты думаешь о своем голосе и внешнем (как тебе кажется) уродстве, о красоте студентов — взрослых женщинах — молодых, ох, молодых; ты думаешь стихи. Ты думаешь стихи. Ты разговоришься! Ты говоришь! Почти не заикаясь. Тебе это почти нравится. И ты — думаешь свои стихи. И они думают тебя. А еще ты думаешь язык, речь и текст! И они думают тебя! Господи, благодарю Тебя, Брат!.. Ты стоишь, прямой и сильный, тебе больно от Большой Нелюбви Юли, тебе страшно за Кулю, тебе больно за стихи, за язык, за текст.

Улыбаешься аудитории. Тебе больно и хорошо. Потому что ты знаешь, что будут стихи. Скоро будут. И ты умрешь. Они придут. Ты их запишешь — и умрешь... Ты читаешь лекцию, и за твоей спиной стоят — незримые — все из рода Орловых и Черминских, Сваяковых, Череповых и Заборских, все: и живые, и мертвые. И они рады за тебя... Рядом с ними, чуть в стороне стоят ребята из разведки МПСФ, живые и мертвые. Все смотрят на тебя, мальчика, рабочего, бойца и убийцу — студента, преподавателя... И зрение твое переходит в слух. Слух — в зрение. Осязание, вкус, обоняние обволакивает их. И из этого слепящего, горячего и болеутоляющего шара появляется голос, рожденный немотой. Голос твой — из немоты. Он состоит из боли и немоты. Немота говорит — не ты. Не тишина, а напряжение немоты тишины говорит тобой... Примерно так.

*Без немоты нет голоса.
Он прекрасен без прикрас
Это цвет любимых глаз
Это взгляд бездонный твой
Напоенный синевой...*

*Это синий негустой
Иней над моей плитой
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим...*

Лекция закончена. Вопросы. Ответы.

— У меня два вопроса, последних, — говорит рыжеватая, с короткой стрижкой рябая девица.

Ты моментально отвечаешь:

— Два? Вопросы? — Вот: двадцать семь; почти уже не женат... Угадал?

Все смеются... После лекции к тебе подходит рыжеватая:

— Я Оля. У меня нелады с научным руководителем, а через год — дипломная работа. Не против, если поговорим?

Ты останавливаешь выходящих из аудитории, просишь всех вернуться на свои места. Когда все расселись, говоришь:

— Да, Оля, поговорим... Знаете — это уже всем — хочу прочесть вам стихотворение Николоза Бараташвили. Или — Пастернака?.. Он — переводчик... Читаешь. Все понимают, что этот мужик — ниче, потянет, нормальный, норм, стоящий преп... С этого дня ты каждую лекцию в универе заканчиваешь чтением любимых стихотворений, написанных твоими любимыми поэтам. Живыми и мертвыми.

После лекции хотелось напиться: так было хорошо от сделанной работы и так было стыдно — ведь позаикивался все-таки и на один вопрос не сумел ответить, обещал через неделю, перед следующей лекцией. Функциональные стили речи. Признаки. Свойства. Тоска. Подошла рыжеватая Оля. Высокая, точнее высоконькая, стройная, лет двадцати пяти-семи, глаза зеленые. Обсудили курсовую работу (последнюю — перед дипломным сочинением). Поулыбались. Покурили вместе во дворе универа. Ваня спросил себя: «Она?» Разошлись. Телефонов тогда не было — только рабочие. Обменялись служебными номерами телефона. Ваня прикоснулся ладонью — легко, как бабочка, к локотку Оли. Она не дернулась, не дрогнула. Улыбнулась. Стояли под Третьим Тополем, укрытые двумя его братьями-сестрами, тоже огромными, с порослью и густой листвой. Прикосновение было мимолетным, но осознанным, с нежным толчком локотного уголка — вверх. Оля, улыбаясь, вдруг глянула зеленым взором прямо в Ваню, глубоко — до печенок. Обняла его — под Третьим Тополем, скорее, приобняла, нарушая дружескую окружность движения телес и души. Он поцеловал ее в губы. Не ткнулся губами в губы, а призадержался или был прижат мягкой и влажной упругостью первого, почти случайного поцелуя... Глаза Оли, зелень зрачков, потемнели, как бы заслоняясь от всего своей глубиной — глубиной зрения, смущения и желания. И — убежала. Быстро ушла. Красавица. За что тебе такое?! За то, что произошло с Юлей и с тобой? Или это — любовь. Она?.. Зелень глаз — до синевы — глубокая, нестрашная, добрая и умная. Умная синева глаз, да? Умная и уже, как тебе кажется, преданная.

Она ведь знает, что ты женат. — Значит, не женат. Наши жены — пушки заряжены. Из-за двух тополей к Третьему шел Петя. Тот самый, который... С Юлей... Тогда, перед сибирской язвой. Сибирская язва разлуки. Петя — разлучник? Да ладно! Судьба-разлучница не выбирает, а берет... Ты улыбнулся Петру. Он быстро приблизился к тебе — и обнял. По-мужски, по-кавказски (Петя был из Абхазии, сын прокурора, эстонца; мать — украинка. сам Петя — русский. Русский сочинитель, такая вот чехарда).

— Прости, брат! За все прости!

— Это ты прости меня, Петь. Я был неправ больше тебя. Один хрен, все рушилось. Семейка наша с Юлей разваливалась. Я не тот, кто был искомым. Я был и есть ископаемое, стихоплет.

— К тому ж известный... Ты, Вань, забудь это все. Хочешь — врежь мне.

— Да ладно. Ни к чему. Все уже произошло...

Петя задержался с учебной-неучебной на пятом курсе. Ты диктуешь ему по ночам его дипломную работу (по Дороти Паркер). Скоро он защитится, но не уедет в Гагру, в Леселидзе — останется в Свердловске на два-три года: с отцом у него были терки-разборки бесконечные. И Петя писал свои рассказы здесь, на Урале. Ты знакомишь его с Майей Вяземской, ведешь его к ней — и она в восторге от вас обоих, молодых, талантливых, веселых, крепких, безбашенных. Вы расходитесь: Петя бежит на свою кафедру, а ты бредешь домой, пешком через весь центр города, за тюрьму городскую, за храм Ивановский, за стадион, за этот жесткий советский треугольник: церковь, тюрьма, стадион и вино. Нет, стихи. Сине-зеленый холодок стоит в горле, в душе, в сердце.

*Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах твоих*

*Это синий негустой
Иней над моей плитой
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим...*

Так и будет. Но не сейчас. Не теперь. Не сию минуту. И не сей год... Оля... Петя... Да, надо жить. Мгла не уходит. Но имя тоже на месте: не бежит от мглы, а проходит мимо Ивановской церкви, где тебя крестили дважды: сразу после рождения и еще раз, за компанию с младшим братом и двоюродной (Колиной дочкой) сестрой; первое Крещение — по Святкам — Георгий-Хлебопашец; второе — тоже по Святкам — Георгий-Победоносец. Почему Георгий? Почему не Иван? — Батюшка так решил. А как решил — так и есть: ты вечный пахарь-думатель стихов, любви, жизни, судьбы и работы-работы-работы, — и ты воин (три континента облетел с группой своей).

Имя судьбы твоей здешней, земной — Мгла...

Ты заходишь в рюмочную — в павильончик пластмассовый «У Иваныча» (это сеть гадюшников нового, чуть отмытого типа), который стоит как раз в географическом центре пересечения трех секторов онтологического излучения, мучения, избавления и укрепления: Тюрьма (СИЗО, или КПЗ, как хотите) — Стадион-Церковь. Тюрьма — северное направление (Колыма, да?), Церковь — южнее, Стадион — северо-западное. Неравнобедренный треугольник, так сказать, добра и зла. Неравнобедренный наконечник стреловидного пространства, летящий сразу в три стороны, во все стороны — окрест. «У Иваныча» ты встречаешь Петю. Он один. Сульженко, Шульженко (без Клавы) и Бахман. Так и сидит сам-трое. Пьет коньяк. Увидев Ваню, вскакивает, распахивает объятья. Щас полетит. Ты еще очень насторожен. Но! — ты чувствуешь, что это — судьба, чреватая дружбой навсегда...

И на следующий день вы летите в Абхазию, в Адлер: доедешь до Псоу, горной речки — село Холодное (русское), потом мост через Псоу — и село Леселидзе (генерал-герой ВОВ такой был), где дом Петиной семьи: отец-прокурор, мать-домохозяйка и сестра Лена-

красавица. Вы летите вдвоем: Юля, Петя и ты. Твою роту! Кто бы подумал?! Сказал?! Сделал так?! С тех пор Ваня часто мотался по воздуху в Адлер, пьяный и без денег, он проникал на аэродром, находил воздушное судно. Подходил. Вызывал командира. Говорил: я к Сульженко — и в ответ слышал: грузись!.. На обратном пути Иван и Пётр заказывали пять канистр с вином и чачей означенному командиру, капитану, альбатросу, — и все было в порядке, «по закону», «по понятиям»...

Петя вел жизнь насыщенную и рассеянную одновременно: менял женщин, пока не нарвался на «залет» — милая, юная биологиня УрГУ забеременела. И парень женился. Свадьба была в Леселидзе — на 250 персон. Был Шеварднадзе и другие генерал-персоны (словечек вроде «виайпи», «босс», «папа» еще не было тогда в обиходе). Свердловчане приехали в Абхазию на свадьбу скопом: Юля, Ваня, Елисей-Евгений Озимов, Фунт (медик-филолог-меломан), Фома (филолог и поэт — все они были «поэты»), Шура Пятницкий (физик и поэт), его невестушка, красавица и журналистка царевна Тамар и еще кто-то, очень важный, но необязательный. На свадьбе было несколько эстонцев из горных сел (Эдик Танвель из Сальме, например), из Таллина (Карл Лыхмус, известный мультипликатор и мультифункциональный двухметровый мужик, с бородищей, бицепсами и добрыми глазами, чуть-чуть испуганными, когда он беседовал с Иваном, кося балтийским оком в сторону Юли...) Пили много, но легко, весело. Юля с Ваней прибыли первыми, и дядя Володя, прокурор, сказав, что свадьба на Кавказе — это еще и тяжелая работа, попросил Ваню о помощи: заасфальтировать дорогу к дому и все дорожки, сколотить 12 огромных и длинных матросских столов, вскопать грядки под какие-то цветы (на продажу) — а земля в Абхазии не мягче самшита, растущего тысячелетиями в горах. Иван припахался. Но ниче — привычен. В семье Пети его зауважали: он еще и бамбуковую рощу почистил, поправил изгородь, установил огромную палатку, поближе к бамбукам, в которые текла речка-ручей Ежовый: в тех местах водились ежи. Но еще больше было змей.

— Почему ручей Ежовый, а не Змеиный?

— Так безопаснее — слово страшнее пистолета, — ответил Владимир Петрович.

Свадьба длилась три дня. Окончание праздника — из уральцев — не помнил никто. Гости разъехались. Хозяева тоже уехали — провожать с застреванием в гостях у гостей на парутройку дней. Петя организовал оставшихся: все — свердловчане. Все сидели за одним столом, бесконечным в геометрическом и гастро-алкогольном измерении. Все — самые крепкие. Петя, Иван, Шура Пятницкий, Фунт (Фунштейн Серёга), конечно и бесконечно, Озимов (Юля исчезла еще с вечера — не ночевала). Ваня знал, что она загуляла с Карлом Лихмусом, но... Ну чта паделаиш — еш конфеты в шкафу... Ворота открылись, и на дорожку, свежееасфальтированную Ваней, ступили три девушки. Они подошли к дому, то бишь к укрепрайону — к столу с богато снедью и пацанами — почти уже мужиками, а все маленькими после принятия внутрь по маленькой. Озимов был готов, но еще сидел и пялился на девиц.

— Мы бы хотели снять комнату, — робко проворковала с фальцетами одна из девушек.

— Откуда, э-э-э... снять? — искренне удивился Озимов.

— Ну, это, из дома какого-нибудь...

Озимов вдруг вспомнил, что он в Абхазии. Это воспоминание потрясло его, и он басом, ни к селу, ни к морю, спросил, опять же басом человека глухонемого, но вдруг вчера научившегося кое-что говорить:

— Девочки, комнату догоним... найдем, — и Елисей-Евгений хлопнулся навзничь с моряцкой скамьи на твердую садовую, подвинуградную землю. Его подняли, усадили. Озимов опять заметил девиц. Удивился и, как на допросе, самым своим басовитым басом надавил на полуголых преступниц:

— Гражданки, а вы откуда... приехали?

— Из Свердловска!

Озимов упал лицом, головой, грудью в блюдо с салатами — и уснул на три дня.

Вернулись Петины родители. Вернулась и Юля. Она подошла к Ивану и шлепнула его по лицу:

— Опять пьяный!..

Иван помолчал. Он чувствовал, что сейчас сорвется. Сил не было терпеть. Он взял Юлю крепко за локоть и шепотом сказал:

— Давай еще. — Юля врезала еще.

— Еще. — Юля повторила.

— Ну, а теперь я... — к нему бросились все, даже собаки, обожавшие этого уральского парня, стали по бокам — справа и слева — и заурчали на Юлю и всех, кто там причитал и вскрикивал.

— Ладно. Вяжем. Конец. Конец фильма. Все нормально. Бой мы выиграли. Мы победили... Но погибли все. — И дал своей жене (мысленно уже бывшей) пощечину. Одну...

Ты всегда будешь это помнить. Тебе всегда будет стыдно. Перед людьми, перед собаками, перед уже полуженой, а потом, видимо, очевидно — неженой... Еш конфеты в шкафу...

Ты думаешь, ты уверен, ты знаешь, что все делал правильно до милой Абхазии. Семья, Юля, Куля — они вошли в тебя, как стихи, откуда-то сверху, сами собой, и ты видел и ощущал этот новый для тебя порядок существования. И вдруг... Измена? Измена другая? Да нет. Оказалось, что это был порядок внутреннего существования. А внешнее — оказалось другим. Ты был уверен в равенстве, в тождестве, в адекватности духовной и телесной жены и тебя. Идеалист хренов. Полудурок деревенский. Военно-деревенский. Придумал себе семью. Дочь? Она разберется (и — разберется: через тридцать-сорок лет так и будет — дочь окажется с тобой). Кто виноват? Никто... Твое воображение убивает мир реальный? Ну да. Вроде того. Так и есть.

Воображение твое дороже жизни? Воображение твое шастает в иных пределах, в иных землях, в ином небе. Иное небо роднее общего небосвода, перечеркнутого белыми инверсионными линиями движения самолетов. Есть внешний мир, и в нем — твой мир. Ты творишь и дотворяешь его бесконечно: внешний мир явно отстает от твоего, иного, внутреннего. Обогащается ли внешний мир? — Да: городами, городами и коммуникациями всех видов, а еще вооружением (все думают о войне: *вооруженный зреньем узких ос...*). Однако силой и безжалостностью своего воображения ты увеличиваешь — несмотря ни на что — вещество жизни — любой: физической, метафизической, музыкальной, семантической, любовной, — жизни ужаса и красоты. Красоты — от ужаса существования. И ужаса — от произрастания красоты. Красоты и ужаса в до-смертной сфере вещества, в за-смертной, после-смертной и внутрисмертной. Смерть — это валентность, нулевая валентность веч-

ности и жизни. Жутковато, да? Ну, ничего, ничего, — как говорит Саша Сидельников, — не мохай кастрюлька — ты еще полюбишь. Сашкино слово «парчуканка»: красивая девка, которая убьет тебя и все, кто мешает ей достичь своего (и общего для планеты) уровня комфорта всех видов — от бытового до... до бытового. Парчуканки и парчуканы — это человеческие особи, не зверьки, но и не люди: они до смерти своей охорашиваются во всех сферах и смыслах.

Вы едете с Петей и Озимовым в Москву. По пьянке. Билеты в театры — на Горбушке. Идете на Высоцкого («Таганка»), во МХАТ, в Ленком. Оседаете в общежитии Литинститута. Пьете. Читаете. Братаетесь. Знакомитесь с Игорем Меламедом, с болгаринцем Червенко Крумовым. Где-то ползаете, ходите, пьете, кричите стихи, ночуете. В туалетах и в кухне общажных на стенах висят объявления черным по белому ватману: «Осторожно! Бытовой сифилис!..» Однажды всей бандой поэтической срываетесь и едете в Абрамцево, на дачу чью-то. Там пьете. Спорите. Читаете стихи. Спите по очереди. Но ты и Петя — самые крепкие: недремлющие сочинители, молчаливые (уж не из КГБ ли?): Петя спокоен, ты угрюм... Водка кончается раз за разом. В сельпо ходишь ты — как самый амбалистый, и глаза у тебя снайперские... Тыходишь в магаз: тесно, народу пять-шесть то ли местных, то ли бедных. У тебя деньги есть (отпускные за ночную работу на заводе — в «деревянном цехе», и дед подкинул, и Катя сунула четвертак), ты не спешишь. Осматриваешься: выгнутые баллоном стеклянные витрины, полки, слева окно и стол перед ним. Рядом со столом стоит мужик в телогрейке, почти новой, чистой. Высокий. Здоровяк. Морда тоскливая. Но в очках. Его потряхивает. Отходняк. После запоя. Ты берешь не шесть, а десять бутылок водки, не пять, а семь банок тушенки, колбасы побольше и хлеба. Рассчитываешься с продавцом (это дядька, видимо, из бывших старшин роты — деловитый, трезвый и взгляд хитрый). Отходишь к столу (квадратный, с фанерной столешницей, крытой лаком, треснувшим и показавшим мелкие желтые коготки). Складываешь основное в рюкзак. А три бутылки водки, две — тушенки, булку хлеба и кусок колбасы опускаешь в авоську. Поворачиваешься к странному алкашу (а сам-то ты кто?!) и говоришь:

— Извините, это — Вам, — и указываешь на авоську. Мужик, в очках-очечках, вздрогнул. Глянул тебе в глаза долгим тоскливым взором то ли заспанного лося, то ли пьяного музыканта в ресторане перед закрытием...

— Вы... извините... я не могу принять... стакан — и все... Если у Вас есть время, дойдемте до моего домика — там и познакомимся...

Незнакомца, который показался тебе знакомым (может быть, типичное русское лицо, разбавленное финно-угорскими и тюркскими генами: высокие скулы, крепкие и прямые надбровные дуги — прямые из-за металлической планки на очках, соединяющей окуляры?, — высокий лоб, увенчанный облысением; сутуловат, но крепок, плечи покатые, как у грузчика или музыканта, играющего на виолончели или на контрабасе (ты сам в те времена пару лет играл в ресторане в составе группы студентов УПИ: рок, блатняк, дворовые хиты и дореволюционные плясовые вроде «Гимназистки румяные»; но зато почти все из «Битлов» и Маккартни («Wings»: «Хоп, хэй, хоп!...»)). Руки большие, сильные, кисти рук как раз, наоборот, совсем не рабочие, и пальцы тонкие, нервные, красивые... Познакомились: Юра — Ваня. И здесь тебя осенило: Юрий Казаков!

— Юрий Павлович, я рад... нет, счастлив встретиться с Вами...

Помолчали. Юра опять глянул тебе в глаза и в тебя, как в ноты. И тишина изменилась, стала иной, новее и более слышной: в ней можно было разобрать, уловить слухом паузы — паузы в огромной паузе тишины. Тишина говорит большей тишиной. Не молчанием и не умолчаниями, а провисами воздушных пазух и пауз, в которых копится что-то очень, или даже слишком, важное и которые заметны только тому, кто ждет от тишины иного звука-незвука, иной музыки-немузыки, иной речи-неречи. Пауза не говорила и не звучала — но! — прослушивалась. Она — слышалась!

Выпили еще. Уже не по половинке стакана, а по полному.

— «Трали-вали»... «Арктур — гончий пес»... «Голубое и зеленое»... «Кабиасы»... «Свечечка»... «Во сне ты горько плакал»... — Юрий Павлович опять глянул в тебя — в то место, где обитает словесность (если она, конечно, не живет в тебе везде) — улыбнулся. Лицо его стало добрым, почти беспомощным.

— Твои любимые?

— «Трали-вали» и «Во сне ты горько плакал»...

— Н-да. Может быть... Может быть.

Юре было плохо. Но уже начинало хорошеть: бледность выветривалась с его лица, и проступала здоровая кожа, уже в морщинах, как утренний морской заливчик — до первого, еще не существующего, ветерка.

— Ты пишешь? Что? Стихи? Прочитай, пожалуйста!

Ты читаешь. Три строфы. Старое. Почти из детства. Ты уже отошел от ощущения памяти, в которой слушателям что-то нравится, а что-то нет. Ты читаешь то, что любишь сам.

— «Мальчики туда не долетят...»... Какое здесь главное слово?.. Ведь не «мальчики» и не «туда». Хотя для тебя, видимо, все-таки «туда».

Ты сидишь на табурете и смотришь на свои польские облезлые джинсы. Штаны. Тебе неловко. Как бы эту неловкость, смущение и неведение собственной какой-то там значимости — не обнаружить, а овнутреннить, обовнутреннить, запихать в себя, растворить в себе.

— Думаю, все слова, все три важны.

— Нет, Ваня, — Юрий Палыч уже ожил и снял протереть очки. Протирал он и шарфом, средне-длинным, оставшимся после снятия теляги на шее, — да, Ваня, главное слово и здесь, и там, и всюду — «не долетят»... — Что сейчас пишешь? Прозу?

— Да, рассказы, повестуху, пьесу.

— Да ты никак у нас орел, — Юра улыбнулся в полную силу.

— Я не пишу. Я думаю. Думаю стихи — всегда. А прозу думаю урывками, фрагментами, сценами.

— Думать стихи. Точное определение и название. И я думаю любой текст как книгу.

— Думаете книгу?

— Да. Думаешь книгу —ходишь в иной дом, в ином месте, в ином времени. Дом безмерен. Место — беспредельное. Время нескончаемое... И ты — огромен. Куда крупнее себя... Так?

— Да, Юрий Палыч. Это как фотографировать прыжок со скалы в 150 метров высотой в пропасть глубиной в километр. Прыгаешь вниз — и фотографируешь. Без парашюта. Фотографируешь скорость (2–3 секунды). Планета летит тебе в морду. Щелк — сфоткал. Выбрасываешь в нижнее небо, в поднебо, парашют (что-то вроде нынешних парашю-

нов) — и вроде бы как летишь вверх — возвращаешься. Это замедление. Резкое. Это второе фото. Фото тебя, твоего недвижимого почти полета после падения. Ты, укрупняясь, уменьшаешься — планета крупнеет. Прорва родная мотает тебя восходящими потоками воздуха, пара, мелкозернистой воды, росы и слез каменных...

— Ты где, Ваня, служил?

— В морской пехоте.

— Все. Вопросов нет... За тех, кто в море!..

Ты уходишь. По-тихому: Юра сидел на койке, сидел-сидел — и прилег. Договаривал он свои разговоры уже полулежа. А потом лег. Закрыв глаза. Отрубился. Отбой. Ты одеваешься, берешь свой сидор-рюкзачок. Шепотом выходишь. Думаешь: бутылка на опохмел у него есть. Еда есть... Ты возвращаешься: а деньги! берешь с полочки книгу, кладешь ее на стол, а под нее сине-фиолетовый четвертак, купюрка по тем временам немалая. На неделю хватит.

Идешь и вспоминаешь, какой книгой ты прикрыл денежки так, чтобы видны были со стороны встающего с койки, садящегося на койку и закуривающего и с тоской глядящего в окно, вспучившееся ватным светом вечерним в темноту комнаты справа. Ты идешь по селу, и люди смотрят на тебя так, как Егор из «Трали-вали», делая такое лицо, будто давно знает эту рыбу, плеснувшую слева — настолько ты здесь уже свой, чуть распаренный и хмельной — и от водки, и от долгого важного разговора. Вот, ты знаком с Юрием Павловичем Казаковым (даже адресами и телефонами обменялись, но ты, конечно, не позвонишь — рано еще; ты — пока никто и ничто, так себе, опохмелятель). Но через три года Юрий Палыч умрет. И ты будешь плакать в туалетах: дома, в универе, в гостях — тайком, чтобы никто не видел и не знал твоего горя.

Господибожетымой! Ты знаком с Юрием Казаковым... Значит, ты знаком (семантически и культурологически) лично с Иваном Буниным, с Иваном Гончаровым, с Иваном Тургеневым (три Ивана на тебя, и тебе — одному — Ивану, внуку помещика и сочинителю), со Львом Толстым, Михаилом Лермонтовым, Александром Пушкиным — и с Афанасием Фетом, и с Фёдором Тютчевым и с Евгением Боратынским... и даже с Гоголем, и — цепочно/радиально с Булгаковым. Ты дикое животное в этом месте и веке, а вы, не знающие о Казакове, — домашние, прирученные животинки... Писать книгу, думать книгу — это быть сразу нигде, везде, в прошлом-настоящем-будущем и в несуществующем, и в форме, и в материи иного вещества... Мистика? Да. Нет! — мистика думания стихов, музыки, книг — есть жизнь. Жизнь эта реальнее реальной, общественно-исторической, социально-истерической и толпяной. Человек не пойдет в стадо людей — куда бы то ни было: в концерт, в цирк, в театр, в кинотеатр, на банкет в честь того-то и сего-то. А в зоопарк пойдет — к волку, к сивому, к лобану с глубокими крыжовенными глазами с белыми и красными прожилками... Не думать думу, книгу, стихи — значит не существовать... В общем и целом: бой мы дали и победили, но все погибли. Успел стишок додумать — значит передал шифровку миру, люду и Богу. Думать стихи. Это не болезнь — это вся твоя жизнь. Думать стихи.

Ты родился, когда планета начала хворать. Скоро ты созреешь — и Земля начнет умирать. Ты успеешь это увидеть. Ты это увидишь.

Тебя пытали, били, добивали пять раз: дисбат, плен, рукопашные бои (особенно с наемниками-кубинцами), долбанный Уралмаш и три брака (один кончается и два на подходе), — и ниче — живой...

Наконец ты доходишь до домика, в котором литературная шпана томила от жажды. Ли-те-ра-ту-ра: сколько тусовок — столько литератур-литературок. Тошно. Душно. Печально. Но — ничего. Прорвемся. Вынырнем. Такая жизнь. На «мертвых» планетах есть вулканы, гейзеры, землетрясения, камнепады (булыжники, глыбы ползают по поверхности планет и плавают, вполне осознанно и целенаправленно, в плазме), провалы, геоподвижки (как карты тасуют — плиты громадные, величиной с Азию), взрывы и, наконец, температура. Все это есть жизнь. Иная жизнь в ином небе. Не начало жизни (предначало) и не конец ее (предконец), а нормальная, только богу понятная жизнь. Так что сиди за столом, пей водку и улыбайся. Улыбайся, дорогой...

Ты живешь в гнезде катастроф: в гнезде — перепутанном, жестком, провололочном — не повернуться, не вздохнуть, не вырваться. Стихи думаются трудно. Не печатают. Тебе уже под тридцать. Две-три публикации в газетках, которые никто не читает. Семья рушится. Медленно, но верно. Жена тебя презирает: ты становишься «пьющим человеком». Скоро ты станешь «глубоко пьющим мужиком». Абзац. Пора выставять траурное каре морпехов: после каждой командировки привозили «холодных», и, когда приезжали родные за телом сына, внука, жениха, а то и мужа, — без объявления и какой-либо команды все, кто был в РР (разведроте), молча выходили в парадной форме (№ 1) с наградами, значками, знаками, и ленты на бескозырках были — черные, с надписью «Северный флот». Матросы, не путаясь и не кипишась, самостоятельно, без команд, становились в стройный ряд в две шеренги, сломанные через колено — в каре. С матросами стояли и офицеры, бывало, и во второй шеренге, при орденах, и небо, и бог все это видел сквозь гигантскую твердую, неограниченную, солено-морскую слезу... Гроб увозили. А каре морпехов оставалось на месте. Стояли еще минут 20–30. Потом старшина рот, Стуканов, герой Великой Отечественной, негромко, почти шепотом говорил себе под нос:

— Сынки, расходимся! Через час все — на камбуз! Помянем!..

Твои катастрофы — это ты. Сам ты. Собственно ты. Ты — катастрофа. И в твою память и муку — никто не выйдет и встанет в строй траурного каре. Так что улыбайся... Ты часто стал впускать в себя дурную мысль: почему тебя не убили в Африке, в Азии, на Уралмаше?.. — Нельзя жить в состоянии непрерывного отчаянья. *Dum spiro spero*. Ну да. Ага. А как же. Хрен там! — Пока я думаю стихи — я существую. Думать стихи — это не выше, это стороннее этой жизни, этого общества, этих людей, мыслящих, чтобы пожрать, украсть, срубить капусты, бабла, хрустов, зеленых, денег... Думать стихи — это значит петь. Петь в себя. Петь в ночь. Петь в небо. Прав Казаков: они туда не долетят. Не долетают. Или — облетают место сие, страшное и пустое для них... Да-а-а, политморсос твой гикнулся, рассыпался. Сейчас ты — голый человек, думающий стихи. Катастрофы?! — Ниче, прорвемся. Вынырнем.

Твой политморсос — сдох: политическое, моральное состояние — аховое... Вот и хорошо. Врагу не сдается наш дохлый моряк. И пощады ему никто не желает: на кафедре на тебя смотрят с удивлением и сочувствием. Друзья с тобой просто пьют: питье успокаивает, если бухать до отрубца, до отрубона, до вырубона. А утром — подъем: лекции, занятия. А после работы — в рюмочную на улице Малышева, в «Коньячную». Потом к Майе: она звала — Лёша Решетов приезжает, хочет познакомиться. Ты идешь к Майе. Она тихо посмеивается. В кухне, сидя за столом и положив голову боком, ухом на столешницу, спит Решетов. Он маленький. Как мальчик. Красивый. Сын расстрелянного отца-журналиста. Мать была на зоне как член нехорошей семьи, антисталинской, антисоветской, контрреволюционной. Его мать из знаменитого грузинского княжеского рода. Ты уходишь, обещаешь зайти попозже, когда Лёша проснется. Через пару часов ты возвращаешься с водкой. Лёши нет. Вышел куда-то кого-то навестить. Ты выпиваешь один — бутылку водки и засыпаешь за кухонным столом, уронив голову — ухом и щекой — на столешницу... Ты просыпаешься. Охреневший и почти слепой от выпитого.

— Ну вы даете: встретились, называется, ты со спящим Решетовым, а Решетов, вернувшись, — со спящим Орловым.

— Пьяный Морфей нас, сволочь, развел по разным углам... Где же Лёша?

— Уехал в Пермь — поезд в девять вечера.

— А сейчас сколько?

— Одиннадцатый. Вот книгу тебе Лёша оставил. Подписал: Ване Орлову и т. д.

*Сапожник допился до белой горячки
Поэт дописался до белых стихов...*

Ты не удивляешься. Правда — неудивительна. Правда — это весомая часть феномена отчаянья.

*...И на одной из стен лачужки
В глухом неведомом краю
Тень стихотворца тенью кружки
Пьет участь горькую свою...*

Ты выпиваешь рюмочку и закуливаешь.

*Убитым хочется дышать
Я был убит однажды горем
И не забыл как спазмы в горле
Дыханью начали мешать...*

Ты выпиваешь еще. Полстакана.

*В гостинице в номере «люкс»
Сижу завываю как люпус
И на передвижников злюсь
Зачем увеличивать скуку
Как славно написана рожь
Как вольно она колосится
Как жаль что сюда не войдешь
В обнимку с молоденькой жницей
Ты только что встал на постой
Прилег на казенной постели
Приходит Саврасов седой
Грачи говорит прилетели...*

Ты пьешь полный стакан. И сразу наливаешь второй.

*Заколочены дачи
Облетели леса
Дорогая не плачьте
Не калечьте глаза
Все на свете не вечно
И любовь и весна
Только смерть бесконечна
Тем она и страшна...*

Ты плачешь. Роняешь голову на стол. Засыпаешь... Просыпаешься — прямо в праздник, словно ты, потный, грязный, полуживой, — открываешь глаза под водой, морской и зеленоватой, холодной, баренцевой и гибельной — и выныриваешь к свету, к людям, к шкафам с книгами: в комнате толпа — человек десять (на советской-то жилплощади!), и все смотрят на тебя и улыбаются тебе. Они все сидят за столом: и Аркаша Застырец, и Кабак, и Костя Белокуров, оттянувший срок по пятьдесят восьмой, и молоденький Саша Неверов, прозаик, и Озимов, и Петя (Саши нет — он к Майе не приглашался), и еще кто-то, даже Шура (Пятницкий) — вылитый Блок, весь в белокурых кудрях. Мудрец, писатель и древо-точец художественный Костя Ордынский сидит с краю. К нему подходит молодой долго-вязый философ с укромной фамилией Лобок и кладет на стол рукопись:

— Вот, Константин Николаич, написал философский трактат. Посмотрите? — Костя Ордынский, с каменным лицом отстраняя рукопись, говорит:

— Я такую ху. вообще не читаю. — Произносит он эту фразу так, будто дружелюбно так сообщает: «Я пьесы вообще не читаю». Все смеются. Ваня идет в ванную. Где, стоя под душем, рыдает. Рыдает, как девочка, уронившая в речку мячик...

*Едет собака в трамвае куда-то
На контролеров глядит виновато
Где же ей денежек взять на билет...*

Ты стоишь под дождем на четвертом этаже в бетонной клетке, нет — коробке...

*Зачем поэт словарь толковый
Такой большой тебе иметь
Нужны всего четыре слова
Земля и небо, жизнь и смерть...*

Ты не идешь в комнаты, в праздник. Ты садишься в пустой кухне за пустой стол. Открываешь бутылку. Наливаешь. Пьешь полстакана. Мало. Выпиваешь всю бутылку — до дна — из горлышка. Из горла. Изгорла.

*О не касайтесь участием мнимым своим
Тех закутков где мы горести наши храним
Скрипка рыдает когда ее тронут смычком
А без него она боль переносит тайком...*

Вошли Майя и Костя-сиделец:

— Вань, сходи за водкой к таксистам. Ночью в такой мороз только ты умеешь убедить и переубедить судьбу.

Ты выходишь из подъезда — в джинсах и свитере, без шапки. Идешь по тротуару и вдруг слышишь прямо с неба — Майя кричит с балкона:

— Ванечка, лови свое пальто и шапку! Морозно!

— Да! Под минус сорок или за сорок. Ловлю!

Майя бросает шапку — она падает прямо в руки. Потом, встряхнув, как одеяло, диагонально, веером пускает по воздуху твое пальто. Оно раскрывается и медленно опускается с неба к тебе. Распахнутое — оно абрисом своим точно совпадает с географическими очертаниями России. Будто кто вырезал из карты мира эту морозную страну. Россия опускается все ниже и ниже — вся в звездах. Перед землей, сугробом она вдруг сжимается почти в кулак и попадает тебе в охапку, в объятие. Ты держишь этот ком России, как ребенка. И на душе становится неожиданно радостно и светло: спасу, уберегу... Зуб даю, не профукаю. Удержу на краю... Чуть помедленнее звезды! Чуть помедленнее...

Мы все нормальны в пределах своего безумия. Но! — человечество убивает в себе человечность, как Зевс, Посейдон и Аид убили своего отца Кроноса. Вот модель развития цивилизации... Ты шагаешь домой, на ул. Крауля, в однушку, где уже давно, кроме языка междометий жены, ты русской речи не слышал. Еще шаг — и вы в разводе. Ты идешь от женщины, мордовки, которая выдает себя за еврейку. Быть евреем становится модно и выгодно (это — в городах). То ли еще будет после девяностых!.. О, ты — глубоко пьющий человек. Или — страдающий. Страдающий — чем: головой, сердцем, душой?! Головной мозг — биологичен. Сердце, психика, душа — биологичны. И: все это — социологично, то бишь губительно. Ты чувствуешь придвижение перемен. Они двигаются к тебе как бы в сидячем положении — жопой, ее половинками, подползая и вползая в твое простран-

ство... Но: ведь есть головной мозг, сердце и душа иного качества и иного вещества: геологического, кристаллического, плазменного, вообще — температурного. Может быть, жизнь — это не только вода, кислород, «живые» клетки, но и температура? Температура всего на свете, на этом и на том. Температура космоса. Температура небесных тел — газообразных, твердых, жидких и других, коих мы просто не знаем?.. Иная жизнь.

Ты вспоминаешь стихи Юрия Левитанского (книжку купил в поселке Гари: на Урале три дыры — Сосьва, Гари, Таборы; так иная жизнь — таежная; таежная жизнь соединяет и одновременно расталкивает жизнь биологическую и жизнь иную). Ты сходишь с тротуара и садишься на городскую, зэковскую, устриженную и укатанную газонокосилками траву. Не травку, но траву. Ты думаешь стихи.

*Все стихи однажды уже были
Слоем пепла занесло их слоem пыли
Замело и постепенно их забыли
Нам восстановить их предстоит
Наше дело в том и состоит
Чтоб восстановить за словом слово
И опять расставить по местам
Так, как они некогда стояли...*

*И внезапно вздрогнешь было так
И внезапно вспомнишь вот как было
Ну конечно так оно и было
Только так и было только так...*

Слабые стишки, но все-таки сильны они прозрачностью своей. Такая вот прозопоэзия...

От Майи до дома, уже и не твоего, или — от Майи до Майи... Майя тебе, друг, мать, сестра, подруга, жена, поэт, мудрец, образец достойнейшего и честнейшего человека, женщины, личности, образовавшей здесь, на Урале, остров свободы думать, жить, любить, страдать и умирать... Ты вернул «Вальтер» брату, ставшему ответным ментом, имеющим семь киосков, торгующих водкой, дурью и прочим дразгом. «ТТ» ты утопил в болоте — бросил в лыву Шувакишскую, бродя там в поисках черт знает чего: грибы поздней осенью-зимой? Ружье («Тулка» шестнадцатого калибра) отдал соседу. Хорошее ружьецо: кучность такая, будто дробь сжимает в кулак сила выдоха оружейного и мощь воздуха, не мешающего сквозить сквозь тебя свинцовым шариком. И — никакой петли! — Терпи, старший матрос, а ныне лейтенант запаса. Терпи. Думай свои стихи — и положи на этот мир, милый и хитрый, с прибором. Перемогай свои душевные сломы: немтырь (но немтырство твое защищает тебя от пустых контактов, многословия и пустомыслия); отец (которого не видишь и не знаешь уже десятилетия); не-учеба (до всего доходишь сам — от фонемы до специальной и общей теории относительности); армия; тюрьма (три побега — и битье тебя хох-

лами-вертухаями — сутками: трое суток после третьего побега в три смены), война (слов нет); люди не думают стихи и музыку и живут жратвой, тряпками, имуществом и прочей хе.ней; Юля (бежать нужно было от такой, бляха-муха, красоты — пустой и самовлюбленной); алкоголь (это — не проблема, это — жизнь, но временная — лет на пять-десять: ты знаешь, что вынырнешь и доплывешь куда надо без этой заразы — любимой, милой, доброй и гибельной, но — прекрасной!); грехи (все: их так много, что лучше сказать все это тишиной); твоё отсутствие в мире словесности — не печатают (двадцать лет не будут печатать!); тебя — немтыря — в этом мире людей нет: человеки заняты телом своим; работа с жёншынами в универе — убийственна, хаотична и жестока; предательство твоё: застрелил Жулика, кота, бросил дюжину за дюжиной любовниц и т.д.; разрыв с братом (пока ещё внутренний: ну как же — ты кандидат наук, а он ворует и развозит по домам пауков в погонах); грядущие смерти бабушки, деда, Кати, Саши, Пети и вообще смерть — это все неотменимо, это все говорит тебе: мы скоро, сука, тебя навестим — держись, матросик, б.я; невозможность жить, как все; абсолютная невозможность и неспособность твоя *играть* в литературу, как это делает Озимов и многие другие («Тихо! Евсей работает *со словом!*») — охренеть можно: какая сакральность! — НО!: сакральность в думании текста, записи его на бумажку...); состояние твоё — *suspended in time, in word, in music, in death as in love etc...*

Ты убит. Ты убит не жизнью, как думают и говорят дураки и слабаки («Это не мы такие — время такое...» — слабочатина человечья), ты убит собой: своим немтырством, своим мытарством и своим неприятием себя в этом мире. Не — неприятием мира, — но! — себя... Ты убит, и ты любишь всех. И тебе кажется (все реже и реже), что тебя любят все. Но это не так, век воли не видать! — потому что ты — такой и не такой, ты, скорее, раззаткий. Раньше ты думал (да и сейчас обманываешь себя), что *все такие, как ты*. Ни хрена! Собака лаяла на дядю-фраера! Все — разные и одинаковые одновременно. Все не хотят тебя — ни в друзья, в наперсники, ни в товарищи; все хотят тебя не видеть, не встречать: на твоей роже распечатано горе — от залысин ранних до бороды, ещё черной, смоляной, аспидной... Ты добр. Ты работолюбив, ты думаешь стихи, музыку, жизнь. Ты думаешь и теряешь любовь. Ты думаешь смерть — а она думает тебя! Здесь, в этом мире, на Урале, в промзонах — каждый за себя. Квартира, деньги, еда — мечта мечтов мечтательных. Ты не устал от таких (*таких*) людей — ты устал от себя. Ты понял, нет — почувствовал, что никто в этом городе не думает стихи. Никто, кроме Майи и Лёши. Остальные играют в литераторов, диссидентов, протестантов (кухонных) и философов от картошки (первое), от Запада (второе), от собственного благополучия и комфорта (третье)... Ты едешь в Шатры. Работаешь на огородах, в саду, на покосах. А потом вы с Гришей Якубовым, твоим рыбалочным учителем, напиваетесь в дым и ночью кандыбаёте на рыбалку. На пруд. Претесь на мотоцикле с коляской сквозь голожопкино поле. Едете на твой полуостров. Разводите костерчик. Костерок. Выпиваете бутылку. Ты засыпаешь. Гриша — рядом уже дрыхнет.

Просыпаетесь. Очнуваетесь. Озираетесь. Припоминаете. Все на месте, кроме потухшего костра: мотоцикл, снасти, прикормки, насадки, наживки и живцы (карасики малые

в бидоне пятилитровом). Оживляете костер. Пьете чай. Водка лежит в коляске мотоцикла — в ту сторону даже не смотрите. Гриша готовит и забрасывает на серединку заливчика закидушки на карпа и на щурят (первым — перловка, хлеб, тесто; вторым — мальки карасиные), ты оснащаешь, наживляешь пять длинных удочек (удилища из молодой сухой сосны) и закидываешь их за траву прибрежную — на окуня и на щучку. Все сделано. Все готово. Светает. Копошились в темноте. Наощупь. Но — безошибочно, без запуток лесок, без зацепов крючков за штаны, за пальцы, бедра, руки (до локтя — так бывает чаще всего). Снасти расставлены. На душе светлеет, как в небе за сосновым могучим бором. Вы садитесь ближе к костру. Ты идешь к мотоциклу. Приносишь бутылочку белой. Вы аккуратно и трепетно — без внутренних содроганий и потряхиваний спохмела — выпиваете ровно по стакану — водка в них налита всклянь. Закусываете степенно, но жадновато — зеленью: луком, укропом, петрушкой — и свежими огурцами. Потом ты тащишь трехлитровую банку с огурцами — малосольными. И вы, уже насытившись и поправившись с перепоею, медленно и торжественно съедаете все малосольные огурчики, которые еще хрустят, брызжутся и не осолоняют тебя до пустыни Сахарской, но оставляют все части организма по местам.

Потом вы полулежите на боку, как на известной картинке. Но вы молчите. И вдруг ты — неожиданно для себя — начинаешь говорить стихи. Свои. Ты говоришь медленно, очень негромко, будто продолжаешь разговор с собой, с озером, с Гришей, с водичкой, с первым коршуном, с первой береговушкой, с росой, обнявшей вместе с травой и вас, ваши вещишки, удилища, будто они продрогли и покрылись пузырьчатой жемчужной кожей. Ты говоришь долго. Гриша наливает еще. По четверть стакана. Хоп — и потеплело на сердце. Хлоп — и не жужжит совесть твоя. Долбаная. Ты опять говоришь стихи. Гриша смотрит на тебя так, будто видит впервые — такого огромного, как земля, и спокойного, как вода. Он удивлен: Что это? Голос? Музыка? Безумие? Где мы, бляха-муха? Кто мы, мать твою за ногу? А муравей? — он тоже *это* слышит? Вишь, остановился на коленке. Привстал на дыбки, поднял передние лапки, потирает их — ладошка об ладошку — озяб, что ли? Или? — нравится? Это говорение... Ты умолкаешь. Тоже постепенно: «и вытер руки о траву...», «горстку мозолей сжимая в своем кулаке...», «зубами чокаясь при поцелуе...» (лучше — «в поцелуе», да?), «с яблоком надкушенным в руке...», «зачесался пригорок — и поэтому я пробежал по нему...»

— «Покушал, выдохнул: «Живу...» — и руки вытер о траву...» — Это правда? Вань, это все, что говорено, правда?

— Гриш, это правдивее правды.

— Истина?.. Но она ведь так... в храмах, ну, там это, Бог, Аллах, Саваоф, то-се...

— Это истинная правда, Гриша. Может быть. Не знаю. Я это чувствую. Но не знаю...

Время и место, оставленные тобой, продолжают жить: они переживают по-прежнему и свое, и твое. Ты возвращаешься — не исчезая, ты видишь знаки своего присутствия здесь и сейчас: удочки твои, сапоги, кусты смородины, крыжовника и малины, посаженные тобой. И — калина: был малый кустом, в нынче — кустище, поддеревок, почти дерево... а гроздья горьких ягод! Ох, зальешь их водой (тайком от бабки с дедом) — намахнешь

стакашек старинный, граненый — и улетаешь мимо прошлого и будущего, мимо настоящего и ненастоящего, мимо воображаемого — прямо в себя, в настоящего, неделанного, немодернизированного городом, не изуродованного работой в женском коллективе, студентами, отчетами, защитой диссертации кандидатской: о, у Вани железная научно-мужская логика! Не трожьте его — он пишет стихи! — не пишешь, а думаешь, страдаешь и радуешь то, что бывает музыкой, смыслом и красотой... Кто бы это знал, а?

Рыбалку проспали. Собрали снасти. Выпили всю брагу на ферме (10 дворов крестьян совхозных), продали мотоцикл, купили три ящика водки. Пили полторы недели — на пруду-озере. Спали на лапнике, на земле, на животе пригорка, лежащего на спине мордой к небу: все было или казалось живым, усмешливым, матерщиноговорящим и веселым. Потом ты сгонял в город, нашел деньги — выкупил мотоцикл, мотик, мотцык, мотовойку, переделку эту у крестьян. Разбудил в шалаше Гришу (успел построить) — вручил коня железно-колесного, «Урал» с колясочкой. Потом опять пили. Но не сильно. Отпаивались. Рыбачили. Взяли несколько тушек карпа и до хрена окуня, чебака и щуки. Потом пришел дед. Увидел рожи Вани и Гриши — за неделю не общелуешь. Посидел у костра. Хлебнул чаю. Забрал рыбу и уехал на Гришкином пердулете: сами допьете — и придете. Бабке на глаза не кажись — потом, когда морда схуднеет, придешь, объяснишься...

Едешь в город, но не на Крауля, а на Уралмаш, к Кате (Андрей в армии — служит в Чите, «воюет» с местными казаками-долбонебами). Ты в отпуске на два месяца перед длительной загранкомандировкой. На кафедре не было ставки: кто-то вышел из декрета, и ты завис. Отпускные — пропил. И вдруг Матфиза Фёдоровна, коллега твоя, доцент и замдекана, уговаривает тебя сделать крышу для ее дома, построенного из пустых бутылок разномерных, бутылок, собранных в универе по вечерам (пили все и на всех кафедрах — по вечерам, ночам: после смерти Брежнева началась не политическая, а кадровая перескачка — но новые генсеки мерли, как мухи). Время советское, государственное начало убывать. Иссякать. Ты это чувствовал даже жопой: из конца-то в конец, будет ли конец этим концам! СССР пошатнулся. Всех тряхнуло. Армия держалась. Милиция начала обандитиваться. И — обандителась к девяностым годам окончательно.

Крышу Матфизе поставил (первая крыша в жизни! — потом будут еще, но эта была четырехскатной, под черепицей (которую подавала Юля, приехавшая на Таватуй в дачный поселок на один день — завершающий) и над бутылочным домом, который показали в местных новостях: на коньке крышмана восседал с молотком в ручонке старший матрос-лейтенант запаса Ваня Орлов (он же Черминский)... Подходил срок отъезда за границу. Перед последним алкогольным заплывом, заныром, прыжком в прорву — тебе снится странный и страшноватый сон: ты один в незнакомой комнате, стоишь в потемках (вечер, что ли, поздний). Дверь открывается сразу в четырех стенах — четыре двери, и в каждую из них входит некто в Юлином темно-синем пальто в крупную клетку с капюшоном. Капюшоном — на голове. Это точно не мужик. Кто? Он-она-оно поднимает голову, и ты видишь лицо Юли — мертвое, синюшное, длинноносое. Голова в капюшоне говорит шутовским голосом: «А вот и я-а-а!» Был у них такой семейный шуточный возглас. А вот и я-а-а! Ты изо всех сил вырываешься, выкарабкиваешься из сна. Долго пьешь холодную воду из-под крана. И выходишь вон из дома. Бредешь к истоку улицы Малышева и начина-

ешь дикий марафон прощания с Уралом, с Россией, с домом родным, с землей, с небом, и лесами, окружающими Свердловск.

Идешь от Московской до Генеральской по Малышева. Зрение твое направлено в тебя, внутрь. Слух твой — весь — внутри тебя. Ты оказываешься в помещении тишины. У тебя 50 рублей. И ты должен их не просто пропить, но выпить на эти деньги в каждом алкогольном учреждении: от кабака и кафе до рюмочной, пивной, столовки и забегаловки. Это не спорт спиртоносный, спиртосодержащий и спиртонеизбежный — это ритуал смерти твоей здесь, на Родине. Ты уезжаешь бог весть куда. Но — далеко. Ты идешь к рюмочной (пост № 1) — и включаешь музыку: сначала в тебе играет Вивальди, потом вальс Эдисона Денисова, потом насекомая музыка Губайдулиной — и вдруг начинает звучать «Срасе», Дидье Маруани — откуда? — столь легкая, но упорная музыка, здесь, в этой грязи, в этой осени уральской, настоящей на гари, саже и промышленных газах? Ты выпиваешь две рюмки коньяку — это старт (впереди ровно 12 алкогольных КП: ты третий по выпуску учебки, полгода! — и первый по окончании РШ, — сдюжишь!). Идешь дальше — а музыка в тебе работает. Слышать в себе музыку — это думать стихи: ты знаешь все варианты звучания, интонации, смыслов, образов и бездн концептологии, которая пошевеливается — ковром — как ртуть где-то внизу — под тобой, — и вверху — над тобой, не касаясь тебя, — все оттенки тона, голоса, тишины. Тишина руководит твоей музыкой. Тишина творит твою музыку. Все документы на загранку готовы. Да! — Черт! — забыл взять две справки: 1) о том, что ты жив и 2) о том, что ты мертв для Свердловска, для России: через порог — из сердца вон. Все — предсказуемо. Предсказуемость, веселая и гибельная обреченность человека и человечества в целом — лежит перед глазами прямо здесь — вот оно: на ладони, как дохлая зеленая лаосская лягушка: хочешь — целуй ее, хочешь — похорони, хочешь — присоединись к ней, хочешь — забудь и живи без дохлой лягушки в горсти. Ты выпил уже восемь порций коньячка (по 50 и по 100). Ты видишь — вдруг начинаешь видеть и замечать не только пространство, но и время: змея в траве вьетнамской, рисовой. Трава в змее. Почти дерьмо. Но — ядовитое. О, сучье вымя! О, бляжье племя! О, суспензия! Неплохое имя для новорожденной. Сус-пен-зия... Нет, это такое ругательство...

В чебуречной на кресте Малышева и Всех Женщин (ул. 8 марта) ты видишь трех молодых патаскух, в джинсах дорогуших (на толчке Шувакишском — 250 руб.), с огуречными ляжками, переходящими в редчайшие в те времена ботфорты — это вниз, а вверх — в огуречные жупки, как говаривала Катя (об огурцах, не о бабах). У Кати в роддоме работал гинеколог Жупиков. Маршал Жупиков не отстоял Москву и не взял Берлин — с такой фамилией и девку не возьмешь. Так... ты уже поднапился. Берлин. Нью-Йорк и все такое: в каждой стране есть свой Ленин, Маркс, Энгельс, Розенберг и Берия. Ха-ароший ряд. Парадигма ономаσιологическая, антропонимическая, политонимическая, правдонимическая...

В стекляшке на Исети ты бьешь морду козлу. Потом тебе бьют то же самое, но уже на Луначарского (угол Малышева). Наркомтяжпроп и наркомкульт не спасает тебя. Но ты уцелеваешь: тебя бьют, а ты подставляешь лоб. Думаешь, трое поломали казанки: лоб-то чугунный. А чугунный — это вам не люминий. Наливай!..

Ты просыпаешься у Ольги. Она смотрит на тебя с ужасом и любовью.

— Завтра?

— Да, Оля еду завтра.

— Куда?

— Еще не сказали...

Ты прешь в душ по изумительно ровной прямой... Выходишь. Борода мокрая. «Борода — это протест против Советской власти!» — было сказано тебе профессором Майдановой, читавшей курс истории КПСС.

Ты опять на улице. Идешь домой пешком. Но не поешь. Устал. Ты знаешь, что тебя ищут Юля, Саша, вся родня. Даже чета Бабиных, с которыми сдружился в последние 5–7 лет. Владимир Григорьевич (Володя) принял тебя на охвосте срока обучения на рабфаке. Лида (тоже Григорьевна) — ученица Веры Васильевны. Ученый. Вы дружили семьями до тех пор, пока семья Орловых не посыпалась, как семечки из дырявого кармана. Все психуют: ты пропал. Вот ведь урод! А? Нет, не просто урод, но урод безответственный...

Рухнуло все. Все. Ни эха, ни пыли, ни осколков, ни выстрелов, а ты — убит. Ты потерял все: семью, страну, себя. Куда ехать-то? В сказочные страны? Пришел в этот мир, чтобы узнать его или просто-напросто познакомиться с ним. И что? Мир не принял тебя. Он прильнул к твоему воображению, как к стеклу оконному, подмороженному и молочному. Ни быта, ни людей. Пусто. И ты пытаешься высмотреть что-то в этом мире своим воображением. Ни-че-го. Это как наука, НТР пресловутая, технологии хреновы по крохотному отрезку (ножницами!) кончика травинки (травы-резучки, как ее называли в детстве, а это дикая тимофеевка или еще что-то вроде овсяных), по зелененькому треугольничку травинки изучают и пытаются понять целый лес. Какие на хрен три закона Ньютона и все на хрен законы? — этих законов 3333333 в трехмиллионной степени + n (n) + бесконечность в степени бесконечности! Триллионы небесных тел в триллионной степени — это лишь частичка кванта вещества Вселенной и Вселенных...

Журналюги и псевдоученые хурят сенсацию за сенсацией. Изучают полтергейстов и полтергейш, а также полтергеев. Аж визжат. От выдумок своих гиблых ощущений... А ты своим воображением и думанием стихов — знаешь, что все это хрень колхозная. Колхозно-американская чушь. Колхозно-японская передовая научная мысль. С-с-стыдно...

Ты неожиданно остываешь. Становишься звонко-ледяным — внутри, как в лаосском бетонном кармане: от псевдорасстрела. Крошка бетонная кожу на башке посекла — воздух — свежий, свободный — притек и распространился в тех участках головного мозга, где обитают здравый смысл, совесть (и в душе!), честь (и в душе!), долг (и в душе!), достоинство (и в душе!). Жена (уже предбывшая, почти по Шолохову, царствие небесное) спит. Вещи собраны. Четыре утра. Еще два часа есть — и вперед, в Кольцово, к самолету. Выходишь на балкон. Куришь. Думаешь: перестали с женой говорить о литературе, о философии, об истории, о жизни, о смерти, о любви, о времени, о Космосе, о Боге — значит, скоро разбег, расход, раздраз, рассеивание, развод. Ты куришь и плачешь. Она спит. Она тоже знает. Все знают. Особенно ее родственники (о, кубометр книг! — лучше бы колбасы купили!), кошка Лея, самка, тоже знает. И Куля (ей семь лет уже) — тоже знает. Выпить бы. Нельзя. Самолет. Потом сразу же — в Минвуз, там скажут, куда ехать-то? Лететь-то? Сваливать-то? Кого хоть учить-то? И какое в той неведомой стране бухло? — неизвестно. Тундра полная... Да уж. Уж! — Как бы так просуществовать в себе — до конца. Долго ли, коротко, то-се... Ты сидишь на половичке балконном, почти упираясь в решетку железную

балконного ограждения. Это чтобы ты не упал. Не навернулся... Блин, ты так уже навернулся — реально и вообразительно, — что костей не соберешь.

— Соберешь, — она сидела в двух метрах от тебя (балкончик махонький, как сталинский карман).

— Добрый утро!.. Простите... Доброе день! Простите... Добрые ночи! — ты весь сжимаешься внутренне — до размеров сердца...

— Ваня, все только начинается. Жену ты потерял. Она еще побудет с тобой. Ты заработаешь много денег. Она их потратит — на себя. И — уйдет. Уедет. В Лондон. Повенчается в Храме Вознесения с евреем британским, ювелиром, — в часы твоего тридцать шестого дня рождения. И все. Да, это труднее войны. На войне все понятно. Здесь — тоже понятно, но — толпе, а не тебе. Терпи. ТАМ ты найдешь хороших людей и подружишься с великим художником.

— Не знаю, что сказать...

— А и молчи, милый. Ты сам все знаешь. И пить бросишь. И сына еще родишь. И читать твои стихи будут. И книги будут. Будь умным и добрым, каким был всегда.

— Да я ведь дурак. И злюсь часто.

— Неумные никогда не будут. А ты будешь. Ты помогаешь всем. И будешь помогать. Ты учишь языку — значит мышлению и воображению... Терпи... Помнишь, у Мандельштама: «Образ твой, мучительный и зыбкий...»? Произнеси ЭТО вслух.

— Образ твой мучительный и зыбкий

Я не мог в тумане осязать

Господи сказал я по ошибке

Сам того не думая сказать

Божье имя как большая птица

Вылетело из моей груди

Впереди густой туман клубится

И пустая клетка позади...

— Впереди, Ваня, не туман, а тишина. В тишине все найдешь, что ищешь.

— А «клетка пустая»?

— Эк мотает тебя, словно по вагону, когда идешь за чаем к проводнику. Или в вагончике узкоколейном, который тянет малый паровозик от Девяносто пятого переезда до Шатров, мимо Шатров — на Тальковый комбинат имени Лермонтова.

— Имени Лермонтова?!

— Ну а кого же еще...

I. СЛОН ГОВОРИТ

Снится сон во сне, который ты воспринимаешь как сон из будущего сна, еще не приснившегося, но уже работающего тревожно и напряженно — в тебе. Внешний сон прикрывает в себе грядущий, эти сны взаимосвязаны ситуативно, но разведены в разные стороны разорванным временем. Сначала ты сдаешь самый мутный экзамен по историческому материализму. Истмат — о, лучше бы ты был историей математики или курсом происхождения русского мата! — истмат: история материи как таковой?! («Рыба как блдь таковая» — старая твоя шутка). Тебя мучает экзаменационная комиссия (госэкзамен?!), ты понимаешь, что ты весь на виду со всем своим внутренним миром и несогласием с советским качеством государства и власти, «государства и революции». Ты, как хреновый снайпер-салага, устроил свою лежку на голом ровном месте... Потом — вдруг, но вполне ожидаемо, ты видишь Матиса Луйка с СВД и себя, работающего вторым номером. Лежка совсем нехорошая, пользованная, окрест голо, но и другое место не найти. Ночью бы здесь полежать и попугать негроидов в два ствола. Выстрел. Встречный. Опережающий вас. Пуля. Матису в плечо. Он кряхтит и что-то проборматывает по-эстонски, матерясь по-русски. Перевязываешь. Ранение «теплое, прохладное», по касательной. Заканчиваешь. Откатываешься в сторону в микроскопическое углубление, в призрачную ложбинку, тянешь Матиса за собой. Раздеваешь его: подшлемник, комбез, башмаки. Лежа, не поднимая головы, обливаясь потом, как мочой, мастыришь чучело и закатываешь его на Матисово место прямо на черно-багровые родинки на пески — от крови. Все это делаешь, не доползая до гибельной лежки. Подправляешь муляж бойца с настоящей (не макетом!) СВД. Ползешь в голяк, в солончаки, роя под себя мелкое стекло позванивающего песочка, — в сторону — к полуголому Матису. Укладываешь себя поудобнее. Поправляешь прицел. Снайпер ты еще тот. Но... попробуем. Встречный выстрел. Есть! — твоя ответка... Тихо. Там поднимается башка. Второй выстрел. И — третий: инерционный — по ходу возможного уползания... В аудитории, кажется, № 315 на философском факе, — все меняется: это ты принимаешь у НИХ экзамен, и они бздят, позитивисты-преобразователи государства и общества, завоеватели природы. Они от нее милости не ждут... Они позитивно создают новый мир — левой рукой, а правой (позитивизм — правша) разрушают. ИХ пятеро; бывшие экзаменаторы валяются один за другим. Все: пять двоек... Впереди тишина. Зачистили. Тянешь чучело к себе. Одеваешь Матиса Луйка, чемпиона Европы по гребле на каноэ (юноши), и вы негативно-позитивистки ползете к себе, к нашим. Встречают. Медбрат, старшина, взрослый парень, сверхсрочник (тогда еще не было контрактников), — обрабатывает рану, перевязывает и дарит группе (семь человек) фляжку спирта. Жаль — не флягу...

Вы поете шепотом: «Я тебе на чучу-бучу — чучу-бучу отчебучу и — отжучу...» Юрка не сдержался на «отжучу» и заржал. Хлопнул супротивный ротный (советского производства, но вражеский) миномет. Не сюда. Вон отсюда. Не мимо — а далеко...

Сны кончились. Ты проснулся? — нет, недопроснулся: вспоминаешь, как прошедшим летом ты забегаешь в арку, под арку дома — спорттоваров — ливень! Июльский, огромный шар дождя потянулся к земле, прикоснулся к нему — и лопнул. До универа два шага.

Но нужно не бежать под колонны центрального входа, а плыть. Ты стоишь в арочных потемках. Закуриваешь. Лето 1984 года. Оглядываешься на некое шевеление, жизнь, которые происходят в глубине этой каменной дыры: две женщины, очень молодые, голые — платья, мокрые насквозь, крепко прилипли к телам... В тебе, глубоко-глубоко, послышался далекий, легкий и почти любовный рокот вертолетов. Военных. Десантных. Как в лучшей песне о Вьетнамской войне Штатов Билли Джоэла «Гуднайт, Сайгон». Вода — взасос — целуется с землей... Ты шагаешь в ливень, в него, внутрь шара, втянувшегося в водяное яйцо, в эллипсис влаги. Ты идешь медленно, спокойно по пустому тротуару. Никого. Все попрятались от любви в свои заботы. Но ты — в ливне — бредишь, улыбаясь, как дурак, яко посуху. Погода шепчет: займи да выпей. Да.

*Нереиды мои нереиды
Вам рыданье еда и питье
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое...*

Черт! Это — сон. Какой по счету? Во сне ты считаешь сны. Листаешь себя, свое воображение, свой опыт, свою память... Вот он — текст! Так текст появляется. Скользишь вниз и вверх одновременно. Оказываешься в казенном месте (самые страшные твои сны — о казенном, в казенном месте, о недоказанном сознании, недобитом музыкой). Пока недобитом: арест, кто арестовал. Сон? Сон тебя арестовал? Не поймешь, но почувствуешь: весть идет к тебе, в тебя, сквозь тебя:

— Что это?

— Стихи.

— Чьи?

— Мои.

— Неразборчиво. Читай!

Ты читаешь свои еще недуманные, неявившиеся стихотворения — одно за другим.

— Тааак!.. Э... Это еще не написано?

— Не записано: я не пишу — я записываю...

— Молчать! Заткнись! Закрой хлебало свое, выродок, немтырь!..

Пауза. Ты видишь себя, но его ты никак не рассмотришь: нечто-некто, прохожее-похожие на Свердлова, на «Яшку» — на памятник Я. М. С. перед универом.

— Слушай сюда, Орлов! Ты проговариваешься к трем годам или к вечной ссылке в Индию. Что берешь?

— Беру... Индию... (Думаешь: «Три года на зоне или в крытке не вытяну. Сдохну.») Почему — Индия?

— Далеко она отсюда. Вот и мотай срок ссылочный, сволочной. Пожизненно. По-жиз-нен-но (Так скажет через двадцать пять лет хирург после артериального шунтирования: «Варфарин» и «Зокор» — дабл-дабл — по 20 мг ежедневно и по-жиз-нен-но. Кроворазжижающие препараты.)

Ты выныриваешь из пятого сна в шестой: почему Индия?! Еще ведь не распределяли. Послезавтра в Москве, в Минвузе... Или уже распределили? — и просыпаешься.

Стоишь под душем. Куришь, отбросив руку с сигаретой на восток, подальше от водяных брызг. Ты должен чувствовать и знать всегда свою правоту и правду. Правду слуха, голоса, дыхания...

Мысли, нет — думы: настаиваются в тебе, как темные и светлые воды — чтением, страданием, тоской, счастьем (редким, но сильным, кротким и неожиданным), радостью, медленно увеличиваясь и преувеличиваясь в тебе, и — переливаясь через край сознания и разума. То, что избыточно, — то и переливается — в стихи, стихами, в музыку, музыкой и постоянным и болезненным ощущением красоты и ужаса. Сначала — красоты, потом ужаса и, наконец, вместе — ужаса и красоты. Ужас красоты, да? — Двигатель и движитель вещества поэзии и жизни твоей и нетвоей, общей. Ты живешь (внутренне) как призрак в призраках ужаса и красоты. Это не миражи. Мираж в пустыне (скажем, на Синае, в Сахаре, будь они благополучны, прекрасны, грандиозны и страшны) — артефактуален. Тогда как северное сияние — это основа Природного отпечатка всего, что ты зовешь (и призываешь!) Главным, Чудесным и Божественным.

Эк мотает тебя! — словно по вагону, когда идешь за чаем к проводнице. Ты всю жизнь ищешь проводницу. Та, которая «Она», — не проводник, а часть северного сияния, часть света (потока фотонов), часть иного неба. Ох, качает тебя, бросает на леера, бьет башкой о переборки, о надстройки, о воздух морской, плотный — почти деревянный. Деревянное море. Деревянное небо... Вас с Юлей провожают в Кольцово, ведут к самолету. Родня Юлина смотрит на тебя с презрительным уважением (зять — не дать, не взять, — а вот поди ж ты, едет из совка на волю вольную, заграничную, тряпичную и алмазно-золотую). Все. Вы в Москве. Ты протрезвел, казалось, навсегда, а оказалось, на пять лет. Ты — призрак трезвости...

Остановились — на месяц — у Юлиной тетки, женщины властной, капризной, но внешне веселой и приветливой. Иван в течение месяца прослушал два курса: страноведа Костомарова и психолога Леонтьева-младшего. Полуинтересно. Далеко от практики. Экспериментально верно, но профессионально невыполнимо (экспресс-обучение русскому языку иностранцев); в этой сфере дела обстояли так: сколько аудиторий, этносов, языков-проводников (от английского до языка жестов и картинок etc) — столько вариантов преподавания. Геолингвистика еще не проснулась. Наконец настал день распределения преподавателей — «русистов» по странам. Ивану было все равно — и куда ехать, и к кому ехать, и как ехать. В 1979 году грянула война в Афганистане. Глупая, страшная и преступная затея, которая в девяностых породит «афганцев», воинов-интернационалистов, преданных и забытых властью Горбачёва. Начиная с 1982 г., со смерти Брежнева, генсеки мерли один за другим (Андропов, Черненко; уход Черненко состоялся в те поры, когда Иван и Юля уже обитали в чужой стране). Одним словом, никто из преподавателей не желал ехать в Афган: война!..

Ты не спишь: завтра определится страна, и через день-другой — выезд за границу. Ты весь в бессоннице — от одиночества, от чужой войны (уже не твоей!), от разлуки с «совком», как говаривала Юля. Ты не хочешь ехать никуда. Ты бредишь Уралом, Шатрами, лесом, реками, озерами, холодом, снегом, звездным зимним, вечно Рождественским небом, любо-

вью — бывшей, обрывающейся и грядущей... Ты куришь на балконе — уже морозно, но мягко: Москва — не Урал, — у тебя там-здесь все жестче, мощнее, определеннее — и погода, и природа, и люди. Идешь с балкона в кухню. Закрываешься. Куришь. Осенние тяжелые мухи в полусумрачном полете натываются на мебель и роняют стулья. Полная кайфострофа: загранка (кайф познания, да?) и страна без тебя, Урал без тебя, люди без тебя. Ты, вроде как, умираешь, но не навсегда, а на год-два... Ты ложишься на раскладушку — в кухне, куришь — ниче, проветрят. Женщины любят открывать форточки. Им всегда душно, жарко, потно и одиноко. С холодным воздухом веселее — тебе. Если бы окно городской светлицы смотрело в ад — во Ад, — то хозяйка всенепременно открыла бы форточку, чтобы проветрить помещение свое, себя, в себе.

Ты спишь — и живешь во сне. Тебе Что-то или Кто-то показывает фильм «Ты — завтра, твою роту!». Ты видишь себя, как мертвеца, со стороны. Вы с Юрием Марковичем (доцент из Таллина: получается — всегда — «и сталина» или «из сталина») и еще сотня командированных за рубежи Отечества сидите-стоите в огромном холле в Минвузе. Выходит ваш куратор-инструктор, выдвигает на середину бетонно-древесной площади стол, кладет на него три листа бумаги форматом А-4 и говорит:

— Вот три списка: капстраны, соцстраны, развивающиеся страны. Запишитесь. Обозначьте (блатное: «обоснуй!»), куда вы хотели бы поехать — работать. («Бардак», — подумал ты). Вся сотня знатоков современного русского языка как иностранного рванула к столу. Очередь образовалась. Ты выдергиваешь Юрия Марковича из топчущей и кричащей шепотом толпы: «Пойдем покурим (Ю.М. — страстный курильщик), подумаем — у меня есть план.

Вышли. Покурили. Ты, матюгнувшись, спрашиваешь Ю.М.:

— Есть чистый лист А4?

— Да-да... Вот он.

— Пиши, Юрий Маркович, на листочке этом следующее (точнее — «следующее», как говорит Куля; сердце сжалось: Кулю брать с собой не разрешили, оставили заложницу — вдруг пойдет в отказ, останетесь в загране, не вернетесь; у Ю.М. два сына, старшего оставили в СССР, младшего, Марика, разрешили взять с собой): «Мы, Орлов И.В. и Золотов Ю.М., готовы ехать туда, куда нас пошлет Минвуз, туда, где мы нужнее». Так! Теперь подписи. Ты кладешь свой (четвертый листок) к трем на столе: видно, что в развивающиеся страны не хочет ехать никто; кое-кто (5–8 человек) топают в соцстраны, а вот в капстраны поехали бы все остальные (90 специалистов). Выходит куратор (скорее, майор КГБ), подбирает со столика бумажки. С удивлением смотрит на лишний четвертый листок, но берет и его. Уходит. Через полчаса выходит. Объявляет: «Золотов Ю.М. и Орлов И.В. едут в Индию. — Здесь пауза. Длинная. — Остальные (читает длинный список фамилий), остальные... остальные... остальные едут в Афганистан».

Немая сцена. Ю.М. напился сразу после выхода из здания Минкульта. Это на радостях. Ты не пьешь. Куришь.

— Вань, ну ты даешь!.. Ты знал? Да? Знал все наперед?

Ты просыпаешься, едешь в Минвуз. Ты знаешь, что произойдет: «Все... остальные... остальные... остальные... — в Афганистан». «Всего на свете поровну». Да? Все значимое

в этом мире ровно, как само себе, друг другу... Странная мысль, фраза. В грамматическом, в сновидческом и провиденциальном отношении.

Тебя и Ю. М. вызывают в кабинет (остальных распускают до отлета в Кабул). Куратор-референт-майор изображает на своем лице пугливую любознательность разведчика. Ты эти приколы знаешь. Отвечаешь на вопросы коротко, почти односложно. Вас с Ю. М. отпускают. Послезавтра вылет. Прощай, немытая Россия... Только синь сосет глаза... Люблю отчизну я... Да, скифы мы, да, азиаты (и Ю. М., еврей, тоже азиат?) мы с раскосыми и жадными очами...

*На откосы Волга хлынь Волга хлынь
Гром ударь в теснины новые
Крупный град по стеклам двинь глянть и двинь
А в Москве ты чернобровая
Выше голову закинь...
<...>
Ах я видеть не могу не могу
Берега серо-зеленые
Словно ходят по лугу по лугу
Косари умалишенные...*

Косит ливень луг в дугу...

Время медленно и туго сворачивается, скручивается в трубочку, которая похрустывает в душе, как вафельная с кремовой начинкой — детство. Детство? Скорость. Самолет. В Индию. Через Ташкент, а он город хлебный. В Ташкенте болтаешься почти вдоль взлетки и начинаешь чувствовать и понимать, что трубочка времени не хлебная и хрустящая, а хрустальная и позванивающая. В темном небе ни звезды. Только вдруг покажется прозрачная зга с северо-востока, с севера на юг, как волосок сивый пожилого или крепко пожившего пространства. Уже — не твоего, Орловского, а иного — русского мужика, бродящего с женой в дозаправочной тишине и пустоте. Посадка, точнее — перепосадка в самолет — и через долгое мгновение ты же в Нью-Дели. Усаживаешься с Золотовыми (Ю. М., Лиля, его жена и малой, совсем карапуз Марк-Марик) в такси. Это старинный «Амбассадор», леворукий. Таксист — сикх (тюрбан, курта-пайджама, пояс легкий и прочный, а за поясом — кирпан, то бишь кинжальчик такой, но не настоящий, а сувенирный, игрушечный; ты его покупаешь у сикха за доллары — вот идиот кацапский! — и сбережешь его до развода с Юлей: в день развода ты его утопишь в реке Исеть, ночью, упираясь ногами в приречный ил, а башкой — в надречное русское небо). Индия. Страна, так сказать, сказка сказок...

Рано утром в отеле трубочка времени внезапно и резко разворачивается — сначала в квадрат окна, затем в чужой азиатский город, далее в Индию и, наконец, в чужбину. Все. Время остановилось.

В башке крутится битловский «Jet». Еда в горло не лезет. В полдень — передали — должен быть на индивидуальном приеме у посла. Ю. М. и ты. Юрий Маркович волнуется. Он вырядился в белый костюм с белым же галстуком. Ты — в вельветовых (кофейного цвета) легких штанах, в голорукой рубашке из бледно-голубой джинсы, на ногах кроссовки... Вы сидите с Ю. М. в приемной посла. Вызывает Ю. М. Он торчит у посла долго — минут сорок. Выходит бледный, мокрый (жара!) и весьма-с смущенный. Ты встаешь навстречу ему, и он, проходя мимо, шепчет:

— Иди! Вербовать будут.

Ты включаешь в себе стармоса, врубаешь в голову «Гобой...» Алесандро Марчелло иходишь в кабинет посла, где, кроме этого милого в целом человека, одетого легко, как и ты, — сидит за отдельным столиком, сбоку от столика посла человек в черном костюме и черном тяжелом галстуке («О! АнтиЮрийМаркович... Да-с... Молчи-молчи»). Вы разговариваете с послом: едете в штат Керала — там русских вообще нет и не бывало, вот, мол, телефон атташе по культуре из Тривандрума, из консульства СССР, — звоните. Ты явно нравишься послу:

— Спортсмен?

— Легкая атлетика, баскетбол, но уже давненько диск я не метал и мячика не мял.

— В армии служили?

— Северный флот. Морская авиация...

Черный в черном галстуке, мужик явно из молчи-молчи, моложавый и злой, — вдруг вмешался в диалог, словно топорик в сосновую колоду всаживает:

— Имеете хобби?

— Имею. Или... хобби имеет меня: рыбалка, теннис.

— Все?

— Нет, не все. Стихи пишу.

Молчи-молчи встает и указывает на дверь женской ладошкой:

— Свободны... Пока свободны.

Посол буквально бросается к тебе, обнимает за плечи. Провожает до дверей — в общем-то до самой Индии. Все: ты свободен. Пока свободен...

Ю. М. завербовали. Объяснили. Пояснили. Пригласили вечером в другое здание — в торгпредство — для беседы. Ю. М. напуган. Молчит. Ты не лезешь с расспросами. Все ясно-понятно.

Блин — на хрен, е-мое, они ведь все знают о тебе. «Морская авиация»? И про ранения знают. И про контузию. И про подписку о неразглашении. Почему не вербанули? Даже не попытались?.. О, черт! То есть Бог! — Стихи тебя прикрыли. Заслонили. Стихоплет — находка для шпиена. И опять эта пугливая любознательность разведчика в черном костюме-тройке. Пугливая сообразительность разведчика («бумажного», кабинетного) распечатала тебя примерно так: бывший практик из ВР, из МП, Севфлот, то-се и бляха-муха — ударил-

ся башкой, и записались стишки. Хрен с ним, с этим Орловым: пусть живет. Но! — может еще и пригодится...

Ты в Нью-Дели уже неделю, нет, лучше — недели: «Дели — недели». Ты охренел от соотечественников за каменными заборами посольства, торгпредства и других учреждений. Ты устал от индийцев-северян, дружелюбных и алчных. Женщины русские (жены командированных пахарей) разбежались кучками по торговым точкам («Яшвант-Плэйз» того стоит: подземный город — магазин, рынок, стадионы бутиков etc). Ю.М. уже уехал с семьей в Бангалор. Пьешь ром. Покупаешь с собой бутылку и выходишь в город, которого не знаешь. Забретаешь в тихий райончик без обезьян. Находишь пересохший фонтан. Тихо. Пусто. Жарко. Пахнет жженым сандаловым деревом. Улицы Нью-Дели (и тем более и гуще — Олд-Дели), сжимающие потоки демонстрации города-деревни — коров — обезьян — автомобилей, старых, крепко поношенных, как эковские башмаки, берцы, гады, — даже верблюдов, сикхов, мусульман, индуистов всех течений — туристов — полицейских (повсеместных) с бамбуковыми палками (стучалищами-хлесталищами) — с желтовато-серым небом, с землей, потеющей мусором, пылью, песком (город поставлен в пустыне) — с тобой, спящим на бетонном кольце погибшего фонтана, — все-все, все — исчезает. Ты устал от чужого воздуха, чужих богов, чужого неба, чужих языков. Ты плачешь: ты хочешь услышать русскую речь. Ностальгия? Да ну! — это просто печаль по холоду. Здесь холодно бывает только по ночам: бывает, бродяги и нищие, коих на улице — миллионы... Индия — вся — это сплошная улица, выпавшая из времени, растущая с севера на юг — до Бенгальского залива, до Индийского океана, расталкивающего Тихий и Атлантический — волной, ветром, вечным движением вод, цунами, херикэйнами (хураганами-ураганами), муссонами — то восточным, то западным. Тебе скоро ехать в Кералу, на самый юг Индостана, к Цейлону-Шри-Ланке, а ты сидишь жопой на чужом камне, пьешь свой ром (с хорлышка, да?) и слушаешь отсутствие родного языка...

Ты вернулся в детство, в Шатры. Ты — немтырь, с тобой мало кто разговаривает (беседует, да?), — поэтому ты слышишь язык иной, почти — на первых порах — неразборчивый, — речь воздуха, земли, растений, птиц, зверей (диких и домашних), неба и — воды. Вода говорит понятнее всех и всего. Она говорит, что ты — мальчик-дурачок (Искандеровский дядя Коля так прозывает Чика). Но ты знаешь, уже знаешь! — что «дурачок» — это лучше, чем нормальные советские дети с Цап-Царапа или Уралмаша. Нет, ты не с улицы Цап-Царап. Ты Шатровский парнишка. Ты вспоминаешь вдруг — в Индии! — стишок Нонны Слепаковой, питерского поэта. Про мальчика-дурачка. Это не Толстовские, Аксаковские и другие литературные мальчишки. А у Достоевского вообще детей нет, кроме малолетних проституток. Это не Гайдаровские дети и не дети Катаева или даже Марка Твена. Да, у Достоевского были дети? В жизни его — не в писаниях?..

*Как-нибудь когда-нибудь
Вырвавшись на волю
Мы с тобой направим путь
К лесу или к полю*

*Время даром не губя
Двинемся тропюю
Я возьму с собой тебя
Я возьму с собой себя
Чтобы быть с тобою.*

*Ну а ты возьмишь сачок
Удочку и мячик
Потому что дурачок
Потому что мальчик...*

Следом является еще одно Слепаковское, или Нонно-Слепаковское, стихотворение... Ты намолчался до своего рождения, до появления своего на свет этот — ты намолчишься после смерти своей. Жизнь твоя — это молчание в мир и говорение в себя. Музыка в тебе увивается, как плющом и виноградником, песней, словами, стихами. Но! — оказалось, что без речи родной слух твой вконец измучен, измочален мыслями твоими, дурью твоей, идиотизмом твоим, твой паранойей гармонии... Горе? — Нет: счастье. Горькое. Горький опыт чудеснее сладкого своим результатом — плачем, песней, музыкой...

*Нежный отход утепленный обман
Грянуться оземь Предложен диван
Слезы сухая подставлена горсть
Ночь одинока является гость*

*Добрый обман милосердный отход
Даже надеется даже зовет
Где-нибудь как-нибудь дескать авось*

Экое горе-то видеть насквозь...

Тебя кто-то окликнул. Высоким голосом. Нечеловеческим. Но родным. Ты потрянул головой. Оглянулся. — *Воробей!* Воробей говорит по-русски! Воробей го-во-рит по-русски! Он знает такой язык — общий для всех, и в этом языке — внутри и в созвучиях, и в интонации — есть русский. Ты выпиваешь. Допиваешь всю, до дна, бутылку. Закуриваешь. Воробьи скачут парами и по одному по каменному кругу мертвого фонтана. Господи, это же колодец! Колодец языка... На железную ржавую ограду (это, видимо, заброшенный садик, индийский палисадничек; каменный сад, каменная вода, каменный пот пустыни) — прямо на гнущее копьё воротец садится ворона — и каркает по-русски! Ободранный кот, одичавший и страшный, нежно мяукнул — по-русски! Господибожетымой, есть с кем поговорить. Есть! Слух твой освободился от шумной тишины гигантского города и учится слышать русский язык — растений, ветра, воды и птиц. Все: еш конфеты ф шкафу...

Вы с Юлей в поезде. «Первый» класс не берите — жара, пыль, ковры и насекомые. Берите второй класс — он с АС (aircondition), с кондиционером: немецкий вагон, купе на двоих, как в нашем поезде СВ...» С Богом...

На поезде ехали до Кочина. Там вас ждет машина с водителем Мухамедом и референтом ректора Керальского универа (Kerala State), который стоял на стреме у выхода и аэропортика с плакатом «Васильевич».

— Видишь, по отчеству встречают тебя, — рассмеялась Юля.

— Или по Отечеству. Си-Си-Си-Пи все-таки (латинское прочтение русской аббревиатуры СССР). Бабка моя, Наталья Григорьевна, говаривала: «Ну, что там опять позорил китайского Мао Зэ Бздуна?!»

Въехали на стареньком «Амбассадоре» в юниверсити-кэмпэс (Campas), в городок-городище с огромным садом, почти бушем (bush, джунгли), универ — его ряды корпусов и прочих построек — был чуть выше Guest House'а. Если стоять лицом к Северу, то по левую руку стояло, чуть дыша, мутноватое Аравийское море (которое ты помнил по двум командировкам в составе... и т. д.); а по правую руку — горы, несколько слоев-ступеней в небо. Красота. Взяли «европейский» (лучший!) номер — он был лучше защищен от зверя, гадов, насекомых, а также имел АС.

Юля радовалась перемене места. Иван разбирал вещи. Открыл сумку заветную с русской снедью — и в лицо пахнуло домом, Россией, Уралом. Будто взял на руки ребенка, дочку свою, и въехал лицом — слухом, взглядом, обонянием в облако младенческого тепла, дыхания, запаха конца и начала, — аж в глазах потемнело... Юля ушла в душ — вполне казарменный, бетонный мешок с душевой стационарной стойкой и двумя краниками, как в общественной бане. Номер был вытянут с севера на юг: прихожая (она же гостиная), спальня с кухонным аппендиксом (но с дверями! — это важно: скорпионы, огромные пауки, ящерицы и ящеры, то-се...), завершалось жилье будуаром, напротив которого располагался душ (ванны не было), откуда вылетела голая твоя жена — в слезах, в ужасе, в конце света и, вообще, в конце конца всех концов:

— Собираемся! Уезжаем! Бы-ы-ы-стро!

— Что? Что случилось?

— Там какие-то существа...

Ты идешь в душ. Включаешь свет — и от лужицы на полу рванули к сточной дыре в полу огромные тараканы (от 12 до 18 см!), на малаялам, языке керальцев, «кура», или по англо-саксонски «кокруч» (таракан). Бляха-муха! Ну шта паделаиш! — Еш канфеты.

— Это, Юль, тараканы. Завтра принесу кошку — всех разгонит: мы в Египте... — и осекся...

— Где?!

— Шучу (ты никогда и ничего не говорил-рассказывал о службе в армии, — так, нес чепуху про морскую авиацию, которую прихватил телом и душой на армейском-флотском охвосте). Шучу. Успокойся. Давай-ка выпьем водки русской с черным хлебом. И — ляжем спать.

— Вызови кого-нибудь из персонала!

Ты спускаешься (уже глубокая, мертвая ночь) со второго на первый этаж. Находишь боя («boy»), Чандру (Чандран), ведешь к себе в номер, радуясь, что парнишка, видно, неплохой, приветливый. Вы, вдвоем, до утра, угощаетесь родными, ставшими заморскими, разносолами (новые друзья Салтановские научили: везите с собой две-три головы сыра нашего, консервы рыбные, икру красную и много водки: Вера Васильевна наказала по вечерам выпивать по рюмке водки — для профилактики ЖКТ — и Ваня тогда мысленно добавил для себя — «ЖКТ и ЗАПОЯ»).

— Юль, а может, это не мы *попали*, а *они*?

— Кто «они»?

— Не *кто*, а *что*! — Си-си-си-пи.

— Ты... говоришь об остатках? Здесь? Заграницей?

— Нет. Для меня это — полностью исключено. Но... Но: давай поживем-увидим. Да?

— Да. Как ты говоришь: все — значимо...

— Ну да: все значимо в нашем мире равно, как само себе, — друг другу.

— Грамматическая белиберда. А смысл-то?

— Все внутреннее — важнее внешнего.

— Да что ты говоришь [*с иронией*]?!

— Давай-ка еще по одной. Скоро рассвет. Пошли к морю. К Аравии.

— Впотьмах? Чандра сказал, что в садах леопард бродит.

— Вот и познакомимся. У меня есть кирпан.

— Этот кривой кинжальчик? Он бесполезен.

— В умелых руках — это супероружие!

— Да иди ты на фиг!

— Ага. Пошел...

— Все: спим. Умираю — спать хочу...

Ты лежишь. Куришь. Юля спит. Театр. Загранка. Без оружия!.. Непредставимо. Что я *здесь* делаю?... Ладно. Не психовать. Театр. Ты попал в дурную пьесу «Заграниц. Индия. Бардак». Да, театр подражает жизни — жизнь подражает театру. Социальная, внешняя жизнь. Однако весь мир — нетеатр, и люди в нем неактеры, а нелюди. Это в «Гамлете» так — не далее, не глубже и не шире... А перед кампусом — рынок: фрукты, овощи, куриные яйца, ананасы, бананы-бананы-бананы: желтые, белые, розовые, зеленые, черные, красные, — и рыбовладельцы. Море — рядом. Арабская рыбешка. Макрель. Запах зеленый, как вода в Море Аравийском. Нет, частности бытия неизменны. Изменчивы, мобильны сферы общего, глубинного бытия. Так что не психуй... «Ванька, гранаты взял? Сколько? Бери четырнадцать — каждому по две: в группе, блин, семь рыл. Одна врагу. Одна себе. Прижми к животу, дерни за колечко — и дверка, тьфу, — вечность твоя, персональная, от-кро-ет-ся»... Спи, морячок. Спи.

Было страшно: начинать работать со студентами — без языка-посредника; точнее, языков — без английского (знал слабовато и подавляюще теоретически, без какой-либо практики), без хинди, без урду, без малаялам (местный язык дравидийской языковой семьи), без хинглиша (индо-английский макродиалект, кажется, понятный, но чудовищно карикатур-

ный по отношению к исходному состоянию современного английского языка), без арабского (в Керале жили тогда, в середине восьмидесятых двадцатого века в основном мусульмане: «Муслимы», реже — «муслимы»). Начальницей Russian Demartment'a оказалась очень приятная во всех отношениях женщина, драведийка, — добрая, умная, отучившаяся в Москве в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы (кто такой Лумумба — загадка навсегда). Ее звали Нирмала, муж которой тоже учился в Москве, в МГУ на истфаке, и теперь оба они преподавали в калькутском универе. Муж Нирмалы — Гангадаран, или Ганга, по рождению принадлежал к очень высокой касте индийцев, отстоявшей всего на шаг-два от браминов (или «брахманов» — представителей высшей касты). Иван, обитавший всю свою жизнь в огромном полиэтническом пространстве, легко принял родовое, кастовое, этническое, социальное и проч. разнообразие Индии, в частности — Кералы, одного из штатов государства (21 штат и 9 союзных территорий вполне соотносились с пятнадцатью республиками в СССР плюс с несколькими автономиями условного характера). Душе стало уютнее. Индийцы нравились и Юле, и Ивану: они были почти как русские, советские люди — добры, хитры, покорны властям и свободолюбивы одновременно.

Ты ходишь по чужой земле, красной, вулканической: за спиной Арабское море, перед лицом — горы с чайными плантациями и джунглями (сухими без муссонов, которые случаются ранней осенью в августе-сентябре — месячный ливень, — это первый муссон, а второй — недельный — обрушивается ближе к зимним месяцам), — все остальное — это города (огромные: Каликут здесь зовут городком, но население в нем куда больше двух миллионов), селения (проехав Индию не единожды с севера на юг и с запада на восток и обратно, ты видишь вдоль трассы с багроватым асфальтом (еще англичане строили, заливали и прокладывали дороги, естественно, руками индийцев) сплошной забор, изгородь, прясло, штакетник, железные заборы, бетонные ограждения деревень, сел, городков и городов, которые тянутся десятками километров и склеиваются в одно целое поселение, образовавшееся на полуострове Индостан само собой. Одним словом, Индия — это геоприрода (небольшая — это не Сибирь) и люди. А еще диковинные для русского глаза грифы, орланы, огромные коршуны, змеи, ящерицы и ящеры, крокодилы, обезьяны-обезьяны, коровы-коровы, буйволы-буйволы и слоны-слоны.

Приехав в Индию и осев в Каликате (точнее, под городом, в двадцати пяти километрах к югу — в университетском кампусе-городке), ты вдруг стал ощущать свое пребывание и сознание места и времени здесь как вторую армию, но уже добровольную, — как шестую командировку, но не в составе такого-то военного подразделения, а в составе семьи из двух человек — Юли и тебя. Изменилась, конечно, интенция: милитарная была замещена обязательной и абсолютной гуманитарной. Но: от этого чувствования, ощущения и осознания себя *там, за бугром*, ты постоянно жил и прозябал в работе и развлечениях, находясь в состоянии терпимого, но тревожного напряжения. Вернулись «военные сны». Но ушел алкоголь: интернационально-гуманистический долг оказался необходимым и неизбежным платежом за годы литературного ужаса в СССР. Здесь, в индийском универе, ты прочитал и еще дважды — за три года — перечитал всю русскоязычную литературу: от Карамзина и Державина до Солженицына, запрещенного и живущего теперь в США. Ты «подтянул» свой английский язык — помог Джеймс Джойс: ты прочел «Улисса» с помощью англо-рус-

ского двухтомного словаря (огромного) Мюллера. Через три месяца ты заговорил худо-бедно на английском, который постепенно превращался в хинглиш.

Каждый вечер (ранний-ранний: темнеет здесь в 19:00 так стремительно, будто Он свет выключает рубильником во всей зоне приэкваториальной); светлеет так же: внезапно; сидишь утром, уже за шесть часов, пишешь или лежишь в огромной гостиничной кровати (2+n) и читаешь — и вдруг что-то щелкает в груди до дрожи в голове, в конечностях, в животе — светло! — это Он рубильник рванул на себя: паситесь, странные народы, пейте свой кофе, чай, сок и прочую жидкость — и на работу. Работа здесь оказалась мерцающей: забастовка и карантины. У тебя три курса: с нуля; бакалавриат; магистратура; продвинутый курс русского языка; постгредьюэйт (аспирантура). Студентов хватает — по сотне душ. Как-то ректор универа, ярый антисоветчик (и это понятно и похвально: трудно, однако, не смешивать советское и российское — «Откуда вы?» — на этот вопрос вы научились отвечать не «From Soviet Union» [лучше — «*onion*»], а «From Russia») — ректор-джентльмен, англо-саксонистый, низкорослый симпатичный южанин с темной кожей пристал к тебе:

— Слышал, у Вас со студентами туго? Студентов-то нет у Вас или слишком маловато?

— Why not? — (Ректор вздрогнул — ответ грубоватый). I have more than hundred students — over one hundred.

Ректор вдруг обрадовался (мужичок был из богатеньких, но умный и добрый). Well done! — Скоро вы с ним подружитесь и будете играть — парой — в теннис... Правнук русского («царского») генерала и праправнук епископа (православной русской церкви), отца и деда твоего деда Ивана Ивановича Орлова-Черминского, расстрелянных большевиками в Архангельске в 1923 (или 1922? году — здесь все смутно, т.к. дед только однажды проговорился, а ты не пристаешь к нему с вопросами, чувствуя в нем ужас казни и утраты), — правнук врагов трудового народа, в сущности, — контрреволюционная сволочь, — *ты улыбаешься этому*, в общем-то, не очень счастливому человеку, с которым судьба свела вас здесь, в Индии. Времена нелегкие: в СССР мрут один за другим генсеки Брежнев, Андропов и Черненко, а в Индии убивают Индиру Ганди: север страны пошумливает, а вот на юге, в Керале, молчат. Сыновья Индиры тоже гибнут (Санджай разбивается на самолете, говорят, не случайно; Раджива Ганди просто убивают). Кругом перестройка: смерть опережает Горбачёва, и он приходит на пустое место — место слабости, страха, дрожи в руках, в щеках и в животе. Индия же ошпарена родовым кипятком из котла полиэтнического, полирелигиозного, полисоциального варева — англичане умеют заваривать смерть.

Ты много работаешь. Месячные (по месяцу!) забастовки тебя не касаются — ты решил работать со студентами и слушателями на дому. Все это знают. Все смотрят на тебя со страхом уважения и почти восхищения. Ты бесплатно учишь русскому языку и русской словесности (индийцы учат русский язык и изучают русское по трем причинам: а) работа на военных объектах; в армии с советским вооружением; б) любовь к прозе Льва Толстого; в) восхищение музыкой русской речи, русского стиха, русской мелофонетикой. Аутсайдер, студент Бобби Джон (кералец, но христисанин, а не индуист и muslim) ездит к тебе на своем автобусе (рейсовом: снимает его с трассы и едет к тебе заниматься русским). Бобби почти мальчик. Живет недалеко (километров сто от кампуса) с родителями и двумя кобельками-шпицами по кличке Сталин (черный шпиц) и Гитлер (белый шпиц). Бобби

не понимает, чьи имена носят его собачки. Он улыбается смущенно и говорит: «Прикольные имена...» Красота Юли, твоей жены (это важно для индийцев), тоже неплохая реклама и метафизический стимул изучать русскую словесность. Ты постоянно ее смущаешь и нечисто, нечестно веселишь, обыгрывая имена новых знакомств: Кунни Кришнан — Пукни С Крыши; или Суреш (неприятный тип, алкаш, избивающий свою жену — ты ему однажды врежешь, и он исчезнет), итак, Суреш — Говна поешь; или Раждив — В Попе Нарыв; или Санджай — Нету Бабы, Не Кончай (Носом не кончай). Дурацкие, грубые военно-морские шутки с уралмашевским акцентом.

Индия, Каликут (Каликат, исконное: город Кожикод) начинают привыкать к тебе. И ты, возвращаясь из поездок — trip'ов по стране, «домой», уже ощущаешь город временно близким тебе, а универ, его Samprus, родным, или почти родным, скорее, двоюродным. Запахи, ароматы и вонь безканализационных улиц Каликута (сточные канавки, забетонированные под желобки); ароматы сандалового дерева свежего, влажного и горящего (тлеющего) — вот душная атмосфера Индии: в городах душно — сандал, пахучий, инопланетный, нутряной, вулканически воспитанный и отшлифованный зноем, — пахнет утробой Вселенной, влажной и горячей от слез, счастливых и горестных. Чай и кофе, заваренный кипящим молоком прямо на улице, на лотке, на ящике из-под мебели — мальчишкой где-нибудь на подъезде к кампусу, к универу, — пахнут протошоколадом, нежным и крепким, как английский ром «Геркулес, трипл экс». Майсурчики, розовые бананчики размером с мизинец (из горного Майсура привезенные) — это сны сахара и детских уст. Обилие людей (круглые сутки) на улицах и на Улице Индии (от северных отрогов Гималаев до Цейлона-Шри-Ланки) — это движение и шевеление космического сознания, истосковавшегося по звездам и Южному Кресту, по океану и Кресту в нем, по чудесному и божественному состоянию мира, где нет бедных и богатых, праведных и дурных, гениальных и бесталанных.

Иногда в чужом бывает больше родного, чем в своем — чужого. Но, тем не менее, ты оказываешься, будучи «на чужбине», в особой ментально-вообразительной ситуации, которую ты называешь художественной шизофренией. Ты зависаешь (suspended in time) во множественном ощущении себя, которое открывается триадой «Я — Ты — Он», — себя, обитающего одновременно в СССР (умом), в России (разумом), на Урале (сердцем и душой), в Африке (памятью), в Индокитае (болью), в Шатрах (сладкой болью), на Уралмаше (смутной ломотой в левом плече), в Уральском универе (ненастоятьгической радостью), в однушке на Крауля (смутной тоской), на Декабристов у Майи Волконской (любовной болью и печалью). Воображение твое преувеличивает образ любви, Бога, Гармонии, Поэзии, Словесности. Образ поэзии множится тобой, миром, поэтом, автором, героем, читателем, забвением твоим — там, на Родине.

Мгла над именем моим... — Примерно так... Ты думаешь сразу три (и больше!) книги: книгу стихов, монографию о поэзии, книгу прозы, книгу записок, вспышек мозговых-сердечных — душевных и духовных. Ты думаешь книгу. Но и книга думает себя — тобой!

Ты думаешь книгу — книгой.
Книга думает тебя — миром.
Мир думает себя — гармонией.
Гармония думает себя Богом.

Бог думает тебя — временем и вечностью.
Жизнь думает тебя и себя — смертью.
Смерть думает себя — бессмертием...

Бабушка просила: «Слазь в подпол за огурцами. Там в подполье еще чего присмотри». И ты лезешь в подполье сознания, страны, истории, поэзии и гармонии — за Мандельштамом, за свободной литературой. Тебе предлагают издать книгу стихотворений в Германии, в Индии и в Израиле. Ты отказываешься: тебя выдворят из СССР навсегда, и это убьет деда, бабушку и Катю... Ты сидишь в номере университетской гостиницы (Guest House), пишешь. Оглядываешься так, будто кто-то хлопнул тебя по плечу. Видишь — это Он:

— Осип Эмильевич?! Вы?..

— Ты. Говори мне — ты.

— Почему? Как? Я не знаю... Откуда?

— Потому что ты — это я.

— А я?

— Я — это ты.

— А Тютчев?

— Это мы.

— Рильке?

— Это мы.

— А кто мы?

— Тютчев...

Уже темно. Ты с фонариком, один. Юля спит. Уработалась на теннисном корте. Ты бредешь по узкому тротуарчику, в темноте, наезжая на конус («на торпеду») слабого света из фонаря. Оп! — тебя кусает кто-то/что-то. В саду в университетском, переходящем в Мауглевские джунгли, сыро, аспидно, пусто. Ты ругаешься. Выругиваешься. Скорпион. Огромный. Черный. Это — хорошо: черные не шибко ядовитые. Тебя уже кусали эти насекомые ребята, членистоногие господа, особенно в Лаосе. На большом пальце ранка. Выдавливаешь кровь. Эх, не отсосешь заразу — нога правая, негнучая, простреленная и резанная по мениску. Прижигашь укус угольком сигареты. Слава богу — ранка одна, а не три — треугольником, остающимся после укуса змеи... Идешь обратно — думать книгу.

Ты думаешь — сквозь книгу, — что ты немтырь. Впервые — твердо и вполне осознанно — ты нарекаешь себя *немтырем* за тысячи километров от дома, от своих книг, от своего стола (хотя и писал ты постоянно в совмещенном с ванной санузле, садился на опущенную крышку унитаза, подкатывал к нему из угла тесной ванно-туалетной комнаты стиральную машину то ли «Кама», то ли «Пермь», то ли «Пермяк», то ли «Вятку»: все — финно-угорское эхо чистоты, стирки, писания, думания и курения (в ванной — можно!). Немтырь: мальчик, рыбак, дедо-бабкин внучок, безотцовщина, помощник деда в с/х работе, песне-стихоплет — это навсегда. Это ты — внутренняя часть «матрешки»-человека. Внешняя часть — оболочка, — это ты — юноша, рабочий, матрос, студент, грузчик, работник морга (морг и фрезеровщик — совпадение с Бродским), дворник, охранник (вахтер), истопник, кочегар, кандидат и (скоро) доктор филологических наук, ассистент кафедры современного русского языка, аспирант, старший преподаватель, доцент, докторант, член СП (СССР, это отдель-

ная история — в будущем), — одним словом, говорун. Немтырь и говорун. А еще пятое-десятое, то-се, бляха-муха и полная трансгрессия. У тебя с детства зябнут ноги — диабет: ходишь по дому — летом — в шерстяных носках, — зимой — в унтах.

Живешь: внешне ты разный: амбал, звероватый тип, шутник, не остряк — а игрок речевой, не каламбурист, а скорее, этимолог незабавный, но неизбывный. Внутренне ты иной: думаешь в себя и в себе свои стихи, тексты, книги (что совсем не понятно ни родственникам жены, ни филологам-коллегам, воспринимающим филологию как работу, как карьеру, как профессию, как Stairway To Paradise, как нудное, но неплохое (при Советах оплачиваемое — примерно так) дело. Думаешь свою науку. Свою прозу. Свою физику и астрофизику, свою философию (слово очень уж слабое), свою антропологистику, свое текстоведение, свою гармонию. Филфак — институция женская: во-первых, ВОВ и другие войны выбили и выбивают мужиков; во-вторых, водка руководит мужской половиной страны; в-третьих, их берут в армию, гонят на заводы (вы-ы-ысокие оклады); в-четвертых, разбил в СССР общественно-государственную витрину — пошел на зону, года на три (стране нужны лесорубы и рудокопы); в-пятых, мужиков долго маринуют в додоцентном периоде, как в банке, стеклянной и безразмерной; в-шестых, «в-главных», — мужиков в гуманитарные сферы науки пускают со скрипом — на хрен вольнодумцев творить, а?! (Ельцин и после него вообще начнут душить философию, филологию и историю — и додушат!)

Тебя и любят, и не любят. Серединки нет. Общественное мнение глупо и чересчур наглядно, повсеместно и бессовестно: если ты иное — тебе конец, — рано или поздно сковырнут. Подойдет со сладкой улыбкой стукача-стукачки — на цырлах, — и сковырнут, как болячку, коросточку, которой нет.

На улицах города, на воле несвободной, женщины тебе улыбаются. Мужики настораживаются. Ночью одинокие пешеходы переходят на другую сторону — через трамвайные рельсы городского снегонight-way'a. Примерно так. Но! — ты знаешь, что мир этот внешний ни-че-го не значит: он неизменен при всех и любых политических и экономических формациях. Актуальная литература (и стихотворчество) — вся как раз в этом и об этом. Меняется только глубинное, общее, не бытовое и социальное — а бытийное, онтологическое, чудесное и божественное, страшное и грандиозное. Потому мир человеческий все еще жив. Стоит. Гибнет. Воскресает. Жиреет. Умирает от голода.

Музыка — это не то, что звучит, а то, что, совпадая с ритмом, дрожью, кодой с твоей кровеносной, ментальной и духовной природой, — меняет тебя. Не преображает, а потом разбирает — но меняет, изменяет тебя, тебе — тобой. Ты сам музыка. Экзотика наземной гармонии превращается в насущную надобность быть собой и носить в себе экзомотив Орфея. Вот и эта страна, сторона, глубинка мира исторического, вечного, — Индия — перестала быть экзотической, экзотикой, ахами-охами: она, Индия, стала тобой (ты впустил ее в себя), а ты прирос к ней — прежде всего музыкально. Индия — это и сон, и не-сон, — это другая реальность, близкая к *иной* реальности и реальности художественной, которая есть не миф, а — мы.

Шагни на трап Jet'a — и ты в Лондоне, где тебя тихо ненавидят, как огромный, громоздкий, бездарный и безвкусный памятник коммунизму, фашизму, тоталитаризму etc., пред-

лагая тебе небольшой изящный (почти крохотный) памятник капитализму. Идиоты! Все идиоты! Идиоты, живущие в изящных домах, в изящном саду, в изящном лесу. А что поде-лаешь с изящной тайгой? С изящными гигантскими реками? С изящными бескрайними полями, горами и, наконец, с изящной тундрой и не менее изящным Ледовитым океаном?!

Индия восьмидесятых годов двадцатого века, замусоренная, вообще нечистая, нищая, больная телом и политикой, мозгом и прагматическим, и религиозным, почти философ-ским. Ты читаешь «Стихи об Армении» (взял и таскаешь с собой повсюду О.Э.М. в «Библиотеке поэта», где Дикий Лифшиц обосрался навеки). Орущих камней государ-ство... Индия — орущих камней государство (и пустошей, и пляжей, и жутких желтых рек), и Армения — такое же государство: но в Индии все есть прирученное, а в Армении — дикое, а значит — божественное. Индия в корке религиозной, тогда как Армения — это каменистая норка религии, словесности и культуры: храмы, кумирни, погребальные костры, слоновьи пляски (как русские девки в хороводах и в лилиях лицом к лицу по шест-надцать в ряд) — по сорок слонов в шеренге, коих две, и они — соперничают, играя, «воюют» — это Южный Пурам, великий праздник! Но и великий праздник — отличить окаменевшую лепешку кукурузную от гранитной и коровьей; кусок сыра — от булжничка в Армении. О, это не менее великий праздник. Цикл «Армения» и «Багават-Гита» — как книги — явные, близкородственные почти сестры. Черно-бело-красные (вино! коньяк!) армяне и разноцветные индийцы: сари и доти (дхоти) всех цветов. Сари: берешь отрез мате-рии (ленту шелковую, хлопковую, иную) не менее шести метров и оборачиваешь чресла своей женщины в несколько кругов-слоев, а конец (около метра) перекидываешь через плечо (можно со спины на грудь, можно наоборот). Доти (dhoti, dhothi) — это для мужиков, особенно южных: квадрат материи оборачивается вокруг таза и прикрывает дядьку до земли — удобно, нежарко и нежалко испачкать, порвать. Не смотри на сари долго — заплачешь: так красиво и чудесно, так богини одеваются там, где существует Протоиндия.

Ты работаешь много. Жена много путешествует (и одна, и с Нэтрой, другом богатеньким с Севера Индии, владельцем всех магазинов, торгующих в Индии и окрест свадебными сари; он влюблен в Юлю; все здесь влюблены в нее; ты знаешь, чем это кончится, так как это уже началось). Ты работаешь со студентами, слушателями, аспирантами и аутсайдера-ми на Russian Department'е, в саду на скамьях, дома — в гостинице, в гостиной. Ты почти один здесь. Бывает... Каждый вечер ты покупаешь ветвь бананов (20 кг), и каждое утро берешь пакет с бананами и выходишь со двора Guest House'а — он подходит: подросток еще, с огромными ушами, маленькими человеческими глазками, на заплетающихся тол-стенных ногах и с ловким, рукастым хоботом. Слоненок Коля (не путать с Кали, Богиней Зла!), он бежит к тебе, разбрасывая в стороны огромные ножки. Ему три года. Он знает русский язык. И его хозяин — тоже: ты даешь хозяину 100 рупий, а Колю кормишь банан-чиками-майсурчиками, пахучими, ароматными, малюсенькими и вкуснейшими. Ты заранее тыришь бананчики по карманам (в шортах, в жилетке, в рубашке), и слоненок Коля (чуть-чуть волосатенький, но еще очень юный) ищет их и осторожно, но быстро и ловко вытаски-вает хоботком, сует их поочередно в треугольный роток с острой верхней губой, выплывы-вает кожулку и жует мякоть бананчика.

Потом, наигравшись со слоненком Колей, ты прешь домой. Находишь цикл «Армения» О.М. И читаешь, впав в обморок, одно и то же стихотворение.

*Лазурь да глина глина да лазурь
Чего ж тебе еще скорей глаза сощурь
Как близорукий шах на перстнем бирюзовым
Над книгой звонких глин над книжною землей
Над гнойной книгою над книгой дорогой
Которой мучился как музыкой и словом...*

Человечество живет тремя потоками: в снегах-равнинах-степях-тундрах; у воды-морей-озер-океанов-рек; в небе-горах-перевалах-отрогах-пропастях... Примерно так. Но есть и другой, иной поток: живущие в музыке и слове — немтыри.

*Не говори никому
Все что ты видел забудь
Птицу старуху тюрьму
Или еще что-нибудь*

*Или охватит тебя
Только уста разомкнешь
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь*

*Вспомнишь на даче осу
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу
Как я ее собирал...*

Ты почти спишь, почти не спишь, почти живешь, почти умер: одиночество — твоя мать, сестра, жена. Тебе хватает. Ты плачешь...

*Я тебя никогда не увижу
Близорукое небо...*

Ты, как нижнее, исподнее небо — поднебье, — распластан на пять сторон (как «беличья распластанная шкурка» О. М.), не света, а твоего постоянного пребывания — ментального, душевного, мнемонического в болезненных и родных для тебя точках планеты: Урал — Северная и Южная Африка — Индокитай — Индия — Кольский полуостров, Заполярье. Ты стоишь со слоненком Колей (он пахнет, как давно не мытый морпех — на задании, в рейде по тылам противника, в отходе, в убеге от преследователей, в бою, когда уже наплевать на все), под солнцем, которого нет: оно — вездесущее, огромное, но крохотное — с точку под восклицательным знаком, с триллионы таких точек повсюдных: жара! а ты ее уже не чувствуешь. Ты одинок. Но с Колей легче — ты ждешь встречи с ним день, вечер, ночь (хозяин слонов говорит тебе, что Коля тоже ждет тебя — постоянно направляет хобот — за пять километров от тебя, а то и за двадцать пять — в твою сторону: к универу,

к гостинице, к теннисному корту, к Каликуту, где ты покупаешь компакт кассеты с классикой [Итальянцы и Гендель, Бетх и Бах] и английский сыр в банках, и английский ром «Геркулес», и индийскую лапшу (быстрогот) с масалой — дикой и крепчайшей приправой), — ты один, видимо, на месяц: Юлия уехала в Тривандрум (столица Кералы), к академику Фёдорову — офтальмологу, к нему на судно-госпиталь, на котором он обходит три океана, сотни стран и одну планету; скоро ей сделают глазки (у нее –5, диоптрия хренова!) — операция будет транслироваться на всю Индию, Индокитай и арабские страны.

Все рушится у них с Юлей. Все несчастливые семьи (а их 90%) похожи друг на друга, а счастливые — счастливы по-своему. Да, Лев Николаевич? Ты писал о дворянских семьях, о бездельниках и пустозвонах — они были счастливы этой пустотой! Да, природа русская спасала их. В тебе четверть крови дворянской (дед), четверть крестьянской (бабушка), четверть полуинтеллигентской (мать Катя) и четверть бешеной крови казачьей (отец, батя, папенька хренов), а еще польская дворянская (мелкопоместная), разбойничья (варнаки уральские) и еще, еще, еще... Примерно так. Мама Джеку адала деденьке на красный. Ну чта паделаиш. Еш канфеты в шкафу... Ты горюешь и наслаждаешься одиночеством: ты пишешь что-то, читаешь, учишь дравидийцев русскому, думаешь стихи, будущие книги. Ты знаешь: они будут. Ты знаешь, что литературного замысла как планирования — для тебя — нет. Есть протозамысел, когда книга (думаемая) и ты мыслите гармонию, а мир, вечность, бесконечность и Бог думают вас — и вы, все вместе — думаете Главное. Это не бог, не гравитация, не время, не разные измерения хронотопа (спасибо, Бахтину!), а нечто большее, более крупное — ему тесно здесь, ему тесно там. Где? — Ты не знаешь, но ощущаешь этот сгусток света, тьмы и пустоты живородящей — он распространяется как некое протовещество во всем сущем, смертном и бессмертном.

Кошка Пуча («pucha» на малаялам — «кошка») из котенка, подаренного Нирмалой и Гангадараном, превратилась в зверя, которого боялись все: и змеи, и пауки (размером с пятерню), и сентипиды (длиной до полуметра), и скорпиончики (особенно желтые, белые и красные — самые опасные, это ты помнишь со времен Индокитайской кампании). Пуча идет себе, идет по мраморному полу, почти зеркальному, посматривая на свою милую морду — и хоп! — взлетела: это ты подхватил ее, проходя мимо. Она сразу начинает тарыхтеть-мурлыкать. Ты ее откормил — до минибегемотских кондиций. Хороша, зараза! Ох, хороша...

Ты один. Думаешь: ты — снайпер, обзревающий и мыслящий, и ощущающий мир и текст; но мир и текст тоже снайперы; ты всматриваешься в будущий текст, но и текст, как снайпер, целится в тебя, метит в тебя и метит тебя миром, воображением и смертью. Процесс думания текста — жизнь: вдруг, бумс, и вы друг друга выследили — и нажали на спусковой крючок, триггера (trigger) — все, дело сделано. Но бывает, что встречные пули (твоя и текста) влепляются лоб-в-лоб! — друг во друга: такая вот свинцовая лепешка, — птичка смерти-жизни накакала... Реже все-таки ты попадаешь: текст есть! Появление текста — смерть твоя (для текста) и смерть текста (для тебя) — ты снова идешь на охоту.

*Руку платком обмотай и в венценосный шиповник
В самую гуцу... —*

ты видишь свою распластанную, простреленную, изломанную, страшную ногу: розово-желтые сухожилия, голые кости (обе — ниже колена), свое мясо, уже заветренное, — и ты видишь сразу, без паузы, эту же ногу, но уже разделанную, через 32 года в дорогой больнице, от щиколотки до паха: шунтируют бедренную артерию, вырезают ее и выбрасывают, вытягивают из тебя метровой длины вену — и вшивают ее на место артерии. Все. Два таких ужаса — между ними универ, семья (первая), Индия, семья (вторая) и ты — безвестный думатель; полуизвестный литератор, профессор, доктор наук, известный полуученый, известный стихотворец, филолог, эссеист и т. д. Примерно так. — Хлоп — и не жужжит, но мучает послезвучием. И дозвучием — тоже...

*Руку платком обмотай и в венценосный шиповник
В самую гущу его целлулоидных терний
Смело до хруста ее погрузи добудем розу без ножниц
Но смотри чтобы он не осыпался сразу
Розовый мусор муслин лепесток соломоновый
И для щербета негодный дичок не дающий ни масла ни запаха...*

Кошка Пуча летит по воздуху индийскому. Так и ты полетел. Взлетел — Кто-то подхватил тебя — и полетел... Ты вспомнил, как это делается и кем это делается: воображение отстает от таких интенциональных взлетов, вылетов и перелетов. Воображение детализирует происходящее — ты перемещаешься туда, где хочешь быть (например, из африканского или лаосского ада — в Шатры). Воображение обустроивает твое параллельное существование, затягивает его во времени, устанавливает в пространстве. Такое не-бытие здесь — есть *бытие там*, где ты *должен быть*, чтобы выжить и быть — дважды. Это не шизофрения (а если и она — то художественная), не галлюцинации, не бред, не сон — это просто твое двойное (тройное и т. д.) бытование, или наличие тебя, если не всюду, то там, где ты хочешь или должен быть. Кошки это умеют: они вдруг исчезают (однажды Гриша, черный кот, Ванин любимец и любимец всего литературного Свердловска, исчез; бесследно, не покидая квартиру — через три дня котике вдруг появился: глаза — ошаренные от того, где он был и что он видел; параллельное пространство? телепортация? — это все хрень полная: коты умеют и любят жить сразу и одновременно в нескольких местах). Кошки исчезают (и собаки тож) и возникают то здесь, то там без особых стараний — у них это происходит само собой. Вот и ты освоил это дело, это новое полихронотопическое состояние своего тела, души и ума. У Пучи, индийской особи, оказался Гришин словарь (в переводе на человеческий язык вполне адекватная миру знаковая система органического происхождения). Вот эти котизмы: котострофа, котокайф, котострофа (грамматика, кстати, у котоязыка — музыкальная по сути и звуко-беззвучная по форме выражения), котоклизм, котоклизма, котурны, котобаза, котомогильник, котомобильник, котовасия, который, шкот (ы) (переходящий в шкоду), наркотик (-и), кот без порток («ток» — это «кот справа налево»), покотили (пошли, поехали), котаться, код, котолог, коталка, котояска (и коляса, и Аляска), аперкот (-ик), абрикотин, щекотка (щекастый), антрекот, шкотулка, сукотка (с брекоткой — загадочные слова), икота, котоллизатор, коомка, которжанин, поток (мытьё полов хозяевами), котегория; а вот идиомы и иные словечки: им овла-

дело беспокойство, охота к пилимениям; выходила на берег Котюша; плимень (пельмень); кадопоник (подоконник); Викторономыч (Викторович); писотка (пятьсот рублей одной бумажкой): — Вань, давай писотку — в зооооопааак пойду; игральные карты: тут (туз), детить (десять), тэть (шесть) и т. д.

Ты изучаешь, «учишь наизусть» мир, а он тебя учит — себе. Коты и другие зверюги дарят нам не только свое доброе расположение, но и саму жизнь, себя, свою душу.

Ты понимаешь, что семья твоя, а главное и основное — отношения с Юлей, — накрываются медным тазом, медленно и верно, точно, скоро будет заподлицо с уровнем земли. Становится все темнее и темнее — остался ободок света — с севера; все остальное болит — мучительно, ноет непрестанно. С тобой стали случаться запои. Небольшие. На три-четыре дня. Выйти трудно из пьянки, но еще можно — стихи помогают. Ты много работаешь. С людьми. Стыдно быть с похмелья. Ох, как стыдно — жуешь орешки, чтоб не пахло спиртом. По ночам не спится, и ты переносишься то в прошлое свое, то в будущее. Чаще — в будущее, в девяностые: СССР исчезнет... Богатые — бедные... То-се. Примерно так. Хлоп — и не жужжит.

Ты в 1992 году — из 1985 (тебе исполнилось тридцать лет, такой вот Шульберт-Харем): читаешь стихи незнакомого тебе — совершенно — поэта. (Он уже есть, в Москве, «Московское время»). Гандлевский. Ты его стихи полюбишь в девяностых. Нет, не полюбишь — но прикоснешься к ним, как к своим — сам себе о себе. Котострофо такое вот происходит — прямо с рубежа твоего возраста, с тридцатилетия. Обвал, обрушение. Трагедия, воспринимающаяся, скорее, как гибель, но отнюдь не обновление чего-то там и кого-то там. И руки дрожат. В полыханье любви и похмелья мотыльками я перенабит. Нет — снегом. Стекланным снегом.

*Все громко тикает под спичечные марши
В одежде лечь поверх постельного белья
Ну-ну без глупостей но чувство страха старше
И долговечнее тебя душа моя
На стуле в пепельнице теплится окурок
И в зимнем сумраке мерцает два ключа
Вот это смерть и есть допрыгался придурок
Жердь, круговерть и твердь мученье рифмача...
Нагая женищина тогда встает с постели
И через голову просторный балахон
Наденет медленно и обойдет без цели
Жилище праздное где память о плохом
Или совсем плохом Перед большой разлукой
Обычай требует ненадолго присесть...*

(Это не ты проходишь сквозь время — это время проходит сквозь тебя, возвращается и уходит, и ты бежишь за ним, летишь, расставив буркалы по сторонам не черепа, а по разрыву тебя — в прошлое и в будущее...)

*Присядет и она не проронив ни звука
Отцы учителя вот это ад и есть
В прозрачной темноте пройдет до самой двери
С порога бросит взгляд на жаркую кровать
И пальцем странный сон на пыльном секретере
Запишет уходя но слов не разобрать...*

Вот это ад и есть. Вот это смерть и есть. Вот это жизнь и есть. Твоя жизнь. Это не кренделя музыкальные Шуберта-Шопена, Моцарта-Моцарта; это быка за рога берет Бах. Берет Бетховен. Или тебя сей бык берет за рога...

Когда кот орет (от любви, от голода, от онтологической тоски) — его корежит, комкает и выгибает, как оперного певца (или певчиху), — это или невероятная, трудная легкость и свобода (весьма форматированная) музыка, или рост голоса — вслед за сгущением существа живого и внезапным освобождением его от муки тишины и недвижения... Муха садится на ящерицу, на человека (на Чандру не садится — опускается на американку-профессора, орущую на индийского боя из-за простыни, из-за ниточки, высунувшейся из уголка постельной материи); муха садится на Суреша, полного гада (очень похож на русского люмпена, пролетария-алкаша), когда муха садится на тебя — помни: муха никогда не ошибается. Муха — это курсор докомпьютерный, стрелочка, подчиняющаяся «мышке»: кто же водит здесь пальчиком... Ты смотришь на муху и думаешь о ней уже больше часа и понимаешь: пора домой, в Россию, на Урал. Ты обращаешься к мухе:

— Не смотри на меня, сука... сука... сука... с укоризной. Немтырь, да еще и заика. Ты улыбаешься, и лицо твое плывет, рассредоточивается, как под водой. Ты думаешь (спасибо мухе!), что улыбка имеет национальную форму: улыбка индийская, восточная (обман! доброе и корыстное издевательство); улыбка европейская (политкорректность, формализованное уважение, полная асемантичность); улыбка американская (эх, все ОК, и зубы хороши!); улыбка арабская (двойной кинжальчик, мягкий, влажный, теплый и вполне религиозный); улыбка индокитайская (пожалей меня, а?); улыбка русская (да е.ись все на хрен! — пил, пью и буду пить; я — волен; воля — это главное). Примерно так...

Ты один. Всегда один. Внутренне. И — внешне. Все сошлось: твоя единичность абсолютна. Ты гуляешь по ночам в ботаническом университетском саду (на поясе охотничий средний нож), ты ищешь леопарда (а они немаленькие), ищешь с ним встречи — не убить, поговорить! Тебе так хреново, что ты хочешь говорить только с леопардом. Говорят, это самец. Огромный. Мы пойдем друг друга. Изредка ты видишь его рефлектирующие глаза — чаще с фланга или с тыла, резко оборачиваясь: он тож хочет с тобой поговорить, да? Твердо-упругий, с плотной, как зубная щетка, шерстью, он незримый, неслышимый, как хорошее, чудесное, бесконечное и мгновенное стихотворение, которое ты думаешь и которое нисходит к тебе из темени ночной, верхней, небесной — по Зеленому лучу, который мало кто замечал в момент финальной части заката: вертикальная спица зеленого света — без свиста — пронзает Аравийские воды и бесшумно вонзается, не вонзаясь, в черную уже пустоту. И там... Что же там?..

Ты слушаешь Led Zeppelin, одну и ту же вещь: Since I've been loving you. Появляется пространство. Твое. Пред- и послемузыкальное. И ты в нем растешь. Видишь себя. Или Горовиц (Бетховен) — то же самое. Или Ave Maria Майкла Болтона в паре с Пласидо Доминго. Или Донецетти («Любовный напиток» — Лука Паваротти; и Паваротти же — «Аида»). Потом ты жрешь свои «Noodle. Чикен. Masala». Пьешь ром. Сразу — фужер трехсотграммовый, — и прешься во тьму как антропологический зеленый луч — но горизонтальный — искать леопарда.

Потом, под утро ты сидишь над Солженицыным («Архипелаг...»), над Набоковым (романы, стихи, рассказы), над десятитомником Пушкина. Читаешь его прозу. С карандашом. Убираешь «лишнее». Правишь... Вдруг вскакиваешь с дивана: что я делаю? Это А. С. П.!.. Все — пора домой. Пока цивилизация ищет пути дальнейшего самоубийства, пока она (с наукой, естественно) мягко и с удовольствием втягивает себя (как червяк дождевой — в плотную глину в ступор — в одно-единственное направление (о, аспект, бляха-муха!) — в прагматику, ты не выходишь из себя — из музыки и стихов. Это, видимо, нехорошо. Попахивает зависимостью, вывариванием себя в собственном, так сказать, соку. Паранойей? Шизофренией? — Нет! — Одиночеством с — женой... Все. Пора сваливать. Сваливать с этой горки, переходящей в ямку, в пропастинику, в бездночку... Дочь? Видимо, останется с тобой. Эта дама-дамочка уже в дамках: здесь, за бугром, заграничкой, — она поняла, что она действительно красива, что она может влиять (не на мир!) на мужиков так, как ей хочется. Красота — товар. Она это знает. И ей это нравится.

Ты «гуляешь» вне заборов кампуса. Идешь с горы. Поднимаешься повыше. Видишь море. Здесь есть лес. Баньяны, кустарник, мэй-триз (майское дерево). Многолапое, нежное, мощное, красивое и ужасное своими толщинами дерево баньян. Вроде, стоит на месте и одновременно идет — все — сразу во все стороны. О, дерево баньян... О, дерево... О, баньян...

Плач плачем

Когда ты думаешь о любви, ты не знаешь: она уже случилась? Ее вещество уже в тебе? Или она еще не подошла к тебе (ты — к ней?)? Или ты, уже придумав ее, отворачиваешься лицом и сердцем к стене, голой, без ковра — и нечего рассматривать: узоры то ли пропали, то ли еще не возникли — вместе с шерстяными разноцветными нитками, которые трогают, ласкают, мнут, вытягивают женские пальцы, тонкие и длинные; о, открой свое лицо! — ковра нет и не будет. Не будет геометрии узоров, тригонометрии движения мысли, полисферичности воображения, создающего гармонию.

Когда ты думаешь о любви, ты знаешь, что она есть, но с тобой и не у тебя. Даже когда она наступает, как лето, осень и весна, ты ждешь зимы: ты выдумываешь непреодолимые трудности. Ты ищешь эту зимнюю любовь в трамваях, на улицах, в коридорах универа и в аудиториях. В книгах. Особенно в стихах.

Когда ты думаешь о любви, ты постоянно пишешь ей письмо: — По воле покойного, из-за смерти, из-за колючей проволоки, из-за решетки, из бинтов, из боли, из глубин своего безумия, из книг, великих и ничтожных, из людей, живущих толпами, которые они кличут нациями и государствами, городами и политическими партиями. По воле покойного меня — из смерти, из жизни, из книги, из гроба — пишу Вам глазами, взглядом из темноты по извести настенной, по коже своей усыхающей; пишу Вам взглядом, мыслью, душой, лучиком-фонариком безумия своего: меня нет.

Когда жизнь и смерть переминаются, как левая и правая нога — поочередно. Пока жизнь-смерть переминается у меня на груди, в груди, в голове, в мозгу, в сердце, в душе — в жизни моей и в смерти моей, я знаю, что ты есть. Но — не для меня. И не моя.

Я трогаю твои вещи. Осторожно мну, ласкаю, глажу ладонью. Я плачу. Они пахнут не тобой, а тобой и мной.

Когда дверь в номер открывается — сама, в гостиную входят они: леопард и старая знакомая — Она. Леопард огромный — в длину; лапы коротковаты, но башка большая и красивая по-человечески. Она говорит:

— Собери все оставшиеся боеприпасы. Оставь каждому по рожку, по лимонке и по три патрона в ТТ — остальное отдай Сакену Абылхапову, он — лучший из вас, он прорвет линию окружения, и вы — все шесть плюс Сакен — прорветесь: нужно двинуть к северу — север вам всем (кроме Сакена) родной, — так что вперед... Леопард подходит, словно подтекает водяная крепкая и объемная водяная пружина, к прикроватному столику и берет пастью, зубами твой любимый охотничий нож в ножнах и с буковой рукоятью. Он подходит к тебе и кладет его (он влажный и сладкий на вид от слюны леопарда) в твои протянутой в темноту ладони.

— Темнота скоро сменится тьмой. Во тьме — пустота. В пустоте — иной мир, иная жизнь. В ином мире — ты, живой и мертвый от любви, которой нет, потому что она есть.

Она говорит леопарду:

— Все значимое в этом мире равно, как само себе, друг другу. Ты равен мне, я равен леопарду, леопард равен и тебе, и мне...

Когда я пишу Вас по воле меня, покойного, — из-за смерти, из-за колючей проволоки...

Ты сидишь на лекции профессора, бывшего вертухая, такого, каким, например, были почти Бабель и почти Довлатов, — профессора, который (по его словам), будучи охранником (войска «ВВ», конце сороковых годов двадцатого века), пристрелил конвоируемого из любопытства, шлепнул его потому, что было лень вести этого «шпиена» (58 статья) сквозь азиатскую жарень по степной сковороде — в городишко, в тамошнюю тюрьму, наполненную недобитками... Ты вспоминаешь, как профессор Атвеев рассказывал эту убийственную историю у костра, на реке Сакмаре, в топонимической экспедиции: вы с ним выпили три бутылки «Старки», и четвертая ждала своей очереди.

Когда ты поешь, всхлипывая, как мальчик-дурачок, ты думаешь о том, какая речь из тебя прет: внутренняя, внешняя или промежуточная. Возникающие стихи ты произносишь трио — одновременно в этих трех производительных сферах. К ним примешиваются, и достаточно явно и ощутимо, — речь плача, — речь задыханий, речь легкоматерная (ооо-чень просторечная), речь военно-морская (точная, сочная и слишком очная для этого женского мира). Эту толпу речи, эти пузыри речи, колтуны и пробежки по ним речью, эти обрывы, всхлипы, вдохи без выдохов — все, что плачет и поет, — мучительны, гибельны, но и вместе с тем светлы и чисты.

Она исчезает: поворачивается к тебе спиной, и ее серое платье становится частью сумерек. Ком в горле — выходит из горла, как пар выдоха на морозе, и висит над тобой и леопардом, как шаровая немолния. Эта немолния сближает двух зверей — алчущего и плачущего.

— Проводишь меня? — спрашивает глазами леопард. Темные крупные пятна на его шкуре светятся тьмой, как фонарики ручные жизни, находящиеся в звере, как фонарики троянцев в троянском звере, живущем в саду-джунглях, бродящем по аллеям (хаотично разбросанным от гор до Аравийского моря). Елены нет. И Юли не стало. Ты выпиваешь стакан (фужер, стопарище) рома. Протягиваешь руку к зверю — и он подставляет под твою ладонь свою огромную башку.

— Пошли!..

В твоей огромной голове, выросшей до размеров воздушной сферы, черной и звездной (с Южным Крестом!) — от сада до моря, — включилась Танита Тикарам (Amore Si), она, эта странная англо-индийская, мальчиковая певица, полный гений баллады, — вытеснила из головы Баха, который все-таки остался где-то на периферии внутреннего слуха и плача, создавая абсолютно трагический фон происходящей в сознании песни, плача, стона, но не воя (русского) и не вопля (африканского) и не гнусавой песенки речи Индокитая, — в этом фоне особенно отчетливо слышались заднеязычные арабские согласные звуки с придыханием.

Ты подышаешь. Ты отдыхаешь от себя. Ты не дышишь, а придышаешь: вперед, назад... Ты стал жить с придыханием. Придыхание — это как выхлоп из легких — твой — с алкоголем. Перегарное придыхание. Перегар любви. Перегар всего, что уже давным-давно сгорело, догорело, выгорело. Перегар, гарь выгоревшей души — с бело-голубой сажой и черно-белой ласточкой, которая вдруг уцелела и теперь вылетает из тебя — на волю...

Гарь. Гарь. Пустошь. На Урале три дыры: Сосьва, Гари, Таборы. И в тебе три дыры: две — в каждой ноге по одной — пулевые, — и в душе. А сердце... Его уже нет. Оно ушло куда-то. За стихами? За дровами? За Зеленым Лучом к Аравийскому закату морю.

Пишу, пою и плачу Вам по воле покойного — из-за смерти, из-за колючей проволоки, из-за артерий, резаных и сшитых, из-за костей, переломанных и сросшихся как попало, из-за немоты своей, закладывающей уши, из-за мыслей своих, перекрученных и стянутых в канат, который держит башку между морем и горем, между горем и горами...

Ты совсем утратил способность улавливать и выражать предметные смыслы, а это чересчур экзистенциально-невизуально, это слишком метафизично. Метафизично, как безумие. Твое безумие идеально, болезненно и очистительно. Ты уже не плачешь слезами — ты плачешь тишиной, которая слышит только тебя и которая любит тебя. Ты прижимаешь к лицу Юлину футболку, дышишь ей, внюхиваешься в нее — как вращаешься в этот недо-стиранный хлопок, белый, но уже с серым налетом — в белый, но уже бестелесный. Ты брошен, как эта футболка, и вы с ней теперь оба бестелесны, безвидны и немые. Вы оба — немтыри...

Пишу Вам по воле покойного из-за смерти, из-за колючей проволоки, из молчания, из затянувшегося сна, из светлой тьмы метафизической, где трогают тебя за голые руки и плечи — звуки: звуки музыки, стихов и звуки молчания твоего, звуки послеплача и после-песнопения. Песнопения немтыря.

Спокойной тяжестью — что может быть печальней — на веки чуткие спустился потолок. Ты видишь — веками. Ты видишь все изнанкой век. Ты всматриваешься — как враща-

ешь — в кровавое нутро свое. Оно — свободно от всего, что снаружи. Оно — зависимо только от внутренней музыки (Глен Гульд включился в голове Бахом) и стихов, которые, по определению — феномен нутряной, подспудный и вечный... Куда он денется после смерти твоей?..

Пришло письмо от Озимова (Евсея, Елисея, Евгения), старого твоего приятеля, талантливого во всем и всюду. Пришло письмо из страны, где генсеки мрут как мухи — в страну, где произошло двойное — с интервалом — убийство (точнее — тройное: Санджай, сын Индиры Ганди) премьеров. Это — чудо: письмо от Жени Озимова, человека простого, потомка кочевников и древних болгар, шахтеров и битлов — всех четверых. Хорошее письмо. Без новостей. Просто — со временем — временем родным, русским, бесшабашным (как сам Елисей), безбашенным (как сам Евсей), умным, с гигантской начитанностью (как сам Евгений), добрым и хитроватым, всегда веселым и свехвительным, — временем диким, но прекрасным и молодым. Письмо Жени ты выучил наизусть. Вот оно. «Пишу Вам по воле покойного, который завещал мне вчера, ранним вечером, писать к тебе, но не сразу, а опосля пьянки, состоявшейся вечером средним, а за завершившейся утром темным, уже почти осенним, августовски-сентябрьским, мягко-жестяным, ибо листва здесь у нас, на Урале не жухнет, как ты знаешь, а крепнет вещественно и твердеет — может пробыть на древесных ветвях аж до Нового года. Пишу я тебе, Ваня, потому, что был изумлен тут на днях появившимся стихотворением, посвященным шкафу-комоду древнему, красного дерева, стоящим во второй (мало кому достигаемой) комнате в доме Майи Вяземской. Майя Петровна тоже была зело удивлена этому опусу, сочиненному то ли мной, то ли Аркадием Ахтырцем, то ли тобой, но никак не Серёгой Кабаком или Андреем Петровичем Омлетовым, или Костями обоими (и философом-древолубом, и древоточцем, а также иным Костей — полиглотом, водкоглотателем и тишайшим человечком), или Сашей Бердниковым (он же Кельт), или даже мной или тобой — в беспамятстве текстотворчества допьяночного или послепьяночного, али и вовсе беспьяночного. Отзовись, Ваня: не знаешь ли ты сие творение, то бишь авторство его да и автора самого:

* * *

Майе Волконской

*Смертью растенья цветущая вещь —
Створки и ящечки, ящер узора,
Хвост не откинувший, хрястнувший леж —
Так высота прижимает озера.
Пещь усыпальная, дивный комод,
Храм уложения тряпок и книжки
Не сберегательной, наоборот,
В рифму косую — без дна и покрышки.*

*Град скрипородный, ресничная верфь,
Чудный корабль, растворяющий брюхо,
Встав на попа, чтоб древесная червь
Изображала извилины слуха.
Домодержавный хозяин судьбы,
Да отпусти мои карие очи:
Коли окурок охоч от губы —
Углем уйти в червоточину ночи...*

Сдается мне, Ваня, что написали мы этот стишок вместе: ну, не помню — хоть убей, хучь растерзай, — помню, что-то мы пили и бормотали под Павликом Морозовым, у Телебашни, в парке Павлика. Помнишь? У Павлика были в гостях, а окрест и округ бегали мимо и сквозь нас студентки УрГУ, в трусах и в телесах, а мы — ноль и нуль внимания — сочиняли в шутку. Но было жутко от слов этих вечных... Помнишь? — Отпиши. Жду ответа, как зэка — лета; жду ответу, как зэка — котлету... А Осип — гений. И Майя гений. И ты гений. Обнимаю.

P.S. А Юлю ты потерял. Или она тебя потеряла? Или вы оба потерялись. И — не ищи. Бесплезно. И вредно. Твой Елисей-Евсей-Евгений Озимов из города на Исети.

август-сентябрь 198?-какого-то года. Все. Еш канфеты ф шкафу.

Одно письмо тянет за собой другие. Интернета и мобильных, и смартфонов еще, слава Богу, не было. Почта была почти голубиной: письма летели в Индию по воздуху — самолетами. Пришло письмо от Юрия Марковича Золотого: зовет — действительно — к себе, в Бангалор, мол, познакомлю («дорогие Юля и Ваня») с великим Рёрихом Святославом Николаичем, художником, он, мол, тебе, Ваня, понравится: картины — класс, много ню (похоже на твоего любимого Ренуара). «Но не на Врубеля!» — подумал Ваня и спустился в офис гостиницы-гестхауса — звонить в Бангалор. Дозвонился сквозь все забастовки и бойни мусульман с индусами. «Приезжай, Ваня! Один? Вот один и ехай — ждем: Лиля готовит фаршированную щуку, а Марик выучил наизусть пять твоих стихотворений. Ждем!»

В груди посвежело. В голове просветлело. В душе произошло расширение пространства и времени. Твоих — времени и пространства. Потянуло, повеяло — сквозь тебя — отовсюду бессмертием. Смерть небессмертна. Она тоже кончается. И начинается иная жизнь. Ты — весь — обострился и слухом, и зрачком, и шкурой своей, и обонянием, и во рту стало горько и хорошо, как от перца-чили (зеленого, свежего, с солью — после стакашка рома). И ты почувствовал, как леопард вздрогнул под May-Tree и царапнул любовно, мягко и длинно каменную вулканическую почву, землю, корочку, кору земную — землю, красную, как уральская кладбищенская земля, вынутая из земли черной, серой, — из глины иной — голубой, — той, из которой ты лепил в отрочестве своих прекрасных и дорогих сердцу уродцев. Ты опять почувствовал в себе способность и возможность влюбиться. А ранее ты влюблялся каждый день в реальных, выдуманных, воображенных и невообразимых, живых и мертвых (физически, умерших), и в нерожденных женщин, — в их обобщенный образ, в незыблемый образ женщины, девушки, существа недостижимого физически, существа

и вещества любви — метафизического, как молчание, как недопроглоченный и недовыученный, недознакомый и недо-родной русский язык. Этакое набоковское зависание в языке, проплавание с языком и сквозь язык, сквозь себя — с собой и без себя.

*Я выехал давно и вечер неродной
Рдел над равниною нерусской
И стихословили колеса подо мной*

(и надо мной, и во мне — стихословили тебя ритмом, сердцебоем, кровобегом, вечных вдохом)

*И я уснул на лавке узкой
По занавескам свет, как призрак, проходил
Внимая трепету и тренью
Смолкающих колес я раму опустил
Пахнуло сыростью сиренью*

*Была передо мной вся молодость моя
Плеть рябина подле клена
Чернеющий навес и мокрая скамья
И станционная икона*

*И это длилось миг блестя поплыли прочь
Скамья кусты фонарь смиренный
Вот хлынула опять чудовищная ночь
И мчусь я крошечный и пленный*

*Дорога черная без цели без конца
Толчки глухие вздох и выдох
И желоба колес как повесть беглеца
О прежних тюрьмах и обидах...*

Ты сам себе цель. Сам себе начало и конец. И середина — с кульминациями, взрывами, штормами, тюрьмой, сумой, зароками от них, заклинаниями и песнопениями, плачепениями, плачами и песенными всхлипами: всхлип — текст. Всхлип — смерть. Всхлип — воскрешение. Всхлип — преображение тебя, мира, воображения, песни, стопа и стихотворения...

Ты едешь в Бангалор. Юля еще не вернулась. Прислала записку с проезжим атташе по культуре (из Тривандрума), мол, все ОК. Ты едешь ночным автобусом через Вайнад (городик в горах), потом через Майсур (где работают два русских из Питера — Саша, он, и Саша, она, с фамилией Отопригора (охренеть!)), — в Бангалор. Дорога почти верти-

кальная — сквозь ночь, тьму, скалы, джунгли, небо и звезды — по серпантину. Водитель — точно морпех: ведет автобус, как БТР на выходе из боя (или — на входе?), — напористо, на газу, без остановок и торможений на виражах, коих сотни, если не тысячи. Вайнад стоит на задвухтысячной высоте. Заправка. И — дальше в бой с пустотой ночи, аспидно-звездной и пахнущей сухостоем и слонами, их навозом (брикеты размером с полторалитровую банку и такой же «баночной» формой). Слонов много. Дикие. Бродят семьями от пяти до дюжины особей.

Ты умираешь: ты умираешь — и начинаешь жить, уже всерьез, по-настоящему, всюду и нигде, всегда и никогда — в чистом свете, в чистой тьме, в долгой мысли, в бесконечном образе и в вечной любви. Инерция сопротивления, энергия воли и неподчинения власти (советской, любой) переходят (скачком, с болью, сразу) в инерцию сопротивления времени социального, которое приходится пролетать — опять же с болью — насквозь, дальше и дальше, и «длиннее» (о, деревня!) — до вещества чистого времени, которое зовут вечностью. Почти с Золотого века в России пели и бились, плача, стеная, рыдая, но — с гармонией и страданием — счастьем за свободу души. Эта «бойня», или самоубиение поэта, даровала ему не свободу, коей нет и не может быть, но — волю! Ныне ты пробиваешься сквозь полость идеологии, недоэстетики, недоэтики, не нравственности и невежественности «масс», сочиняющих эмоционально-социальную хрень, чушь, дерьмо, — ты пронзаешь ее еще в отрочестве и начинаешь ощущать невыразимое, непознаваемое и главное...

Ты еще увидишь и услышишь преобразование сути «современной поэзии» от оксюморона — до оксиморона, до аксимерона, до окси-аксимирона (откуда взялся Мирон, папа С.М. Кирова? А?!) до укссимерона, до уксиморона, до окакайсимерона, до оксихуеморона; ты еще нахлебаешься дряни, которая ложится на идеологически подкованную литературу, — мерзости Полной Пошлости «Прекрасного» (ППП). Такова динамика некомпетентности, разобразования, протемнения (взамен просветления) и тотальной невежественности литераторов от 1917 до 2017 годов!

Едешь в горном автобусе, как в БТРе, как в БМП. Ты пьешь ром (у тебя три литровые «бомбы» этого пойла). Въезд в Майсур, он располагается, распластывается на плоскогорье. Дальше — сон в ночлежке-забегаловке для туристов-ездюков-пассажиров. Ты выходишь из автобуса по команде водителя вместе со всеми: девочки налево, мальчики направо (или наоборот). Ты справляешь малую нужду рядом с сикхом, он в курте-пайджаме, в тюрбане и при кирпане (кинжальчик) за поясом. Вы работаете из тьмы во тьму, как пулеметчики (первый и второй номер). Вы чуть пригибаетесь от звезд. Ты поднимаешь голову — и чуть не падаешь то ли на спину, то ли на колени: прямо перед вами с сикхом, над вами высится двуострый, двупиковый собор — Кёльнский!.. Ты закуливаешь, протягиваешь сикху зажигалку и пачку сигарет, твои руки трясутся...

— Эт-т-та... Мы — где?!

— В Майсуре.

— А не в Кёльне?

— Неа, это копия Кёльнского собора...

— Бляха-муха!

— Ага...

*Я научился вам блаженные слова
Ленор Соломинка Лигейя Сервита
В огромном зеркали теснится голова
И кровь звезды просеивает сито
Стекла и ртути амальгамы
И женщины и тьмы...*

В огромном зеркале без рамы...

В Майсуре ты берешь моторикшу и прешь, тарахтя и вихляясь по узким улочкам, набитым людьми, скотом, велосипедами, старинными автомобилями, ишаками, пешеходами, полицейскими, обезьянами и ароматом зловонным открытой канализации, сливных канав, кое-где забетонированных, но открытых. Ты чувствуешь, что воздух, напичканный запахами бензина, навоза, дерьма, открытой канализации, сточных канав, фруктов, бананов (и майсурчиков твоих любимых!), — натянулся как незримая простыня или развернутое во всю свою длину сари. Натянулся и дрожит... Что-то будет...

Вы пьете с Сашами Отопригора водку, виски, вино («Голконда» из Хайдарабада, где ты бывал на конференции, блин, международной, ох...). Читаете стихи: Саша читает свои, его жена Саша читает Сашины, а ты — Мандельштама.

*Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима
В серебряном ведре нам предлагает стужа
Голконды красное вино
И темный образ северного мужа
Напоминает нам оно
Но северные скальды грубы
Не знают радостей игры
А южным дравидийкам любы
Янтарь пожары и пиры
Их убивает воздух юга
Чужого неба волшебство
И все-таки пропащая подруга
Откажется попробовать его...*

Саша (он) — смеется, он услышал подмену. Саша (она) — грустит... Ночью вы просыпаетесь от негромкого близко-далекого рева — то ли воды, то ли коровы. Утром ты едешь в центр Майсура на велорикше: автобусов нет. Улицы пусты. По сточным канавам медленно и бодро ползет красная жижа, а над ней — сверху — сукровица. Ты берешь такси

до Бангалора — далеко, блин, дорого. И шофер-таксист смотрит на тебя с явной нелюбовью дрожащими глазами.

- Что случилось?
- Столкновение...
- Солнца и Луны с Землей?
- Ну да. Мусульмане погнали индусов.
- Куда?
- На Луну?
- Сколько народа участвовало в «столкновении»?
- Около трехсот тысяч.
- По сто пятьдесят?
- Не, сто — индусы, двести — муслимы.
- А полиция?
- Била сначала бамбуком. Потом стреляла.
- Что это ревело ночью? Как вода. Или как кровь?
- Это шумела смерть. Разгоняла жизнь по домам...

Ты знаешь, что в этом шуме-вое ночном ревела и твоя кровь, и твоя вода, не успевшая стать снегом. И ты вспоминаешь, что смерть перед тем как ожить, оживать и жить — шумит. Шумит, гудит, звучит, играет свою музыку, состоящую из странных и страшных ритмов. Только ритмы. Мелодия ритма.

Вы едете на таксешке неспешно, пугливо. Вы оба озираетесь по сторонам. Столько крови ты видел только в Африке и в Лаосе. И это не дежавю — это действительно так звучит смерть. Теперь она живая. Теперь она, сука — богиня — чудо, наша, твоя, этого индуса (?), муслима (?), буддиста (?), христианина (?), человека —? Человека ли? Мы — все — человеки?! Да ладно. Хватит трындеть! Мы атомы смерти и жизни; только в нас соединяются жизнь и смерть. Они, милые, обнимаются. Ты видишь: худющий полицейский (подросток, недоросток, недоносок, недопесок, недоживок, недобиток) разваливает череп своему отражению в зеркале религий и города — такому же, как сам он, худящему, скелетику мужичка индийского, майсурского. О, Боже! Чем он бьет? Нет, не палкой бамбуковой (как полпалки лыжной, старинной, из детства, из Шатров, из Уралмаша, из души) — он разваливает башку человеческую мачете; или палашом, что ли; или обрезаком, заточенным, нержавеющей (1/8 обруча бочкового). О, Боже...

Вы съезжаете на Бангалорскую дорожку. Здесь — пусто. Все шепчут имена своих богов — по домам. Или думают их? Они — думают Бога! — от ужаса: никакой, на хрен реинкарнации нет. Ее нет потому, что есть жизнь, смещающая в себя все: и смерть тоже...

Ты сидишь рядом с водителем. Оглядываешься на задние сидения — и видишь женщину. Это тетя Оля, мама Юры Путилова, умершая, когда ты был на флоте... Вот это смерть и есть. Отцы-учители! Вот это смерть и есть! Узкодушные вожди, цари, военачальники, долбаные войны, короли, феодалы, коммунисты, империалисты и революционеры смерти не видят. Даже когда имут ее. Они пьют статистику — залпом: ПОБЕДА! Узкодушные государственных, военных, политизированных и пересоциализированных т. н. людей принима-

ет только то, что страшно увидеть целиком. Страшно увидеть целиком в семи измерениях жизнь, смерть, любовь, вечность, бесконечность духа и бога. Эти господа-товарищи и товарищи-господа видят все в одном измерении: деньги. Арифметика и деньги. Альберт Э. — отдыхает. А и Д — вещество примитивное, доодноклеточное: все значимое в этом мире равно, как само себе, друг другу...

Ты выходишь из такси перед воротами сада Бангалорского технологического института (университета). Платишь водителю-подростку, подбогу, подмужику сверх меры и ступаешь на бангалорскую землю. Ты идешь по тоннелю-аллее *may-trees*. Уже темнеет, и эта растительная труба диаметром в семь метров вдруг начинает шуметь. Вверху. В ветвях, листве и цветах чудесных деревьев и *M-Trees*... Вороны! Их тысячи, десятки тысяч. Они увидели тебя и узнали: это русский, чужак, не индус, не муслим. Это русский мужик... Ты останавливаешься. Закуриваешь. Достоешь из кармана штанов фляжку. Пьешь. Выпиваешь почти все — до дна, на котором остается пленочка рома.

Вороны — маляры: они отбелили твою джинсовую куртку, штаны и бейсболку, а также заплечную сумку-суму с гостинцами, которые ты прихватил для семьи Золотых. Светает. Здесь солнце восходит осторожнее, помедленнее, чем в Керале на берегу моря: дравидийское солнце просто включается и выключается (восход в Бенгальском заливе, заход — в Аравийском море). В Индии, как в детстве, солнца всегда много, но оно тобой не замечалось ни тогда, ни теперь потому, что все, что попадало в тебя — зрением, слухом, осязанием, духом и нюхом, — было ярче любого солнцесвечения; там, в тебе, это *оно* вытемнялось и неожиданно рассветало не сразу, но постепенно — по мере осенения *его* воображением. Во почему ты — не «актуальник», не «поэт актуальный, актуальнейший», не «поэт-актуальник»: главное — то, что ты думаешь, страдаешь и счастливишь, чем ты возрастаешь, — это главное явилось тебе и к тебе — и вошло в тебя как особая, внутренняя, «персональная» солнечная система, в центре которой смешались свет, пустота, тьма, Бог и стихи. Ты всегда знал, что никакого такого специального и хронологического «завтра» — нет. Мы постоянно и неотрывно думаем и говорим свое «завтра», мечтаем его, воображаем, наслаждаемся им, не подозревая и, естественно, не зная, что «завтра» уже было, оно уже прошло. Оно уже прошло...

А где «сегодня»? Где «вчера»? — потоки времени неоднородны и самовольны: время спешит превратиться в вечность, мы торопимся и силимся жить во времени, которого нет... Где «новое», где «старое»? Все — промежуточное: старо-новое, но твое. Ты выходишь из аллеи, как узкий книжный стеллаж, облитый строительно-ремонтной известью. Заходишь за трансформаторную будочку, такую русскую, помятую и нечистую. Снимаешь штаны, куртку, кепку, надеваешь новые джинсы, футболку и бейсболку, оттираешь кроссовки сброшенной на землю одеждой, сворачиваешь ее в тугой рулон — и суешь этот странный цилиндрический одежный предмет в урну. Вот — университет. Слева — коттеджи. Третий слева — дом семьи Золотых. (В Шатрах есть место — Золотые; это заброшенные прииски, шурфы, раскопы, воронки; как от взорвавшихся снарядов полковой артиллерии, артбатареи, золотые до сих пор золотоносны, и некоторые старички покапывают там золотишко.)

Ты шагаешь к первому коттеджу. Останавливаешься. Видишь камень. Белый. А рядом — незаметный — черный. Садись на белый. Нет. Неудобно. Пересаживаешься на чер-

ный — хорошо. Закуриваешь. Оглядываешься на белый камень: на нем сидит Она. Это гранит — черный и белый, два куба 0,5х0,5х0,5 м. Ровные. Кто их сюда притащил?

— Это я нашла тебе местечко, и — себе: посидим, отдохнем.

— Вы... А где леопард?

— Дома, в саду, ждет тебя. Ты ему понравился.

— Как потенциальная закуска? — Она улыбнулась:

— Нет, как настоящий друг. Вы оба думаете главное — стихи. Он — свои, дикие, извечные и бесконечные. Ты — свои, короткие, языковые, с музыкой, но тоже дикие.

— Дикие? Почему?

— Они первичны. Ты сразу — с трех твоих лет — пошел к ним.

— Пошел?

— Да. Думать стихи — это и есть путь. Путь поэта — это не жизнь его и не смерть, и не вино, и не девушки, не слава, не книги, не премии-призы (как лошадям дают, да?), а стихи. И не сами, собственно, стишки, а процесс *постоянного* думания. Не поэзия. Поэзия — вещество свободное и неуловимое, оно может поцеловать тебя, но — только после Бога, Меня и Любви.

— Да-а... Простите, а...

— Да, главное не сомневаться. Не в себе не сомневаться, а не сомневаться в существовании главного.

— Примерно так.

— Примерно так: войдешь в дом Золотых — увидишь нечто. Не удивляйся! Так должно быть...

Ты закуриваешь. Поднимаешь глаза — белый камень пуст и одинок. Белый камень свободен. Кто подойдет к нему? Кто присядет на него? Или... на нем уже кто-то сидит-стоит или парит над ним с первой бабочкой-индийкой? Ты встаешь. Смотришь на свой черный камень... Мой!.. Пусть живет здесь. А ты будешь жить — везде. Да и Он живет везде. Камень. Камень. Камень.

Ты звонишь в металлическую, красивую, почти драгоценную дверь. Через полминуты дверь открывается. Трое Золотых смотрят на тебя: Юрий и Лиля чуть-чуть исподлобья, как человеческие волчата, а Марк бросается к тебе. Ты подхватываешь его на руки, он обнимает твою шею, защищая тебя от мира взрослых людей. В этот момент в дверном проеме показывается женщина. Ооочень красивая. Англичанка? Американка? Нет, голландка-нидерландка... Нет... Нет... Это Юля. И ты печально радуешься черт знает чему.

— Привет, Ваня.

— Какими судьбами? Я уж думал, ты осталась на Фёдоровском офтальмологическом эсминце... Нет, крейсере... Нет, линкоре... Авианосце... Там есть, на верхней палубе, вертолетная площадка?

— Не знаю. Не видела. Не могла видеть. Сейчас, после операции, вижу, но теплоход ушел. Сплыл. Был да...

Они обнялись. Он чуточку придеревенел уже до объятия. Она прижалась к нему и поцеловала в губы...

Ты научился исключать из себя ревность. Ревность, зависть и чувство мести, желание мести. С детства ты обучен бедной жизнью семьи Орловых, семьи полуторной (полуторка,

да, как грузовичок с кукурузой хрущёвской): дед, бабка плюс катя с двумя головастиками, Андрей — не очень, головастый, но глазки его тюркские, папины, хитроумные, а ты — голован, башка, как говорит Озимов «лобастый затылок».

Юля уже посетила имение Татгуни, познакомилась со Святославом Николаичем Рёрихом (именно «Рё», а не «Ре», как произносят это имя все: вторая нота после «до»). Больно кольнуло: успела, милая, всеми любимая рас-кра-са-ви-ца...

Имение знаменитого старца располагалось совсем недалеко от Бангалора: это была плантация каучуковых деревьев с усадьбой (каменный дом, каменный барак-мастерская, постройки и кумирня), очень просторное место, почти открытое, плоскогорное — такое трудно оборонить и защитить от уже невозможных набегов арабов, индусов, муслимов и дикарей.

Святослав Николаевич принял всех: Ю. М., Лилю, Марка, Юлю, которых уже неплохо знал, и тебя — странного мужика с тюрко-славянской внешностью, смоляной бородой, высокого, крепкого, всегда чуть напряженного и молчаливого. Еврейская семья Золотых (без старшего сына Саши) была как одно целое, только десятилетний Марк торчал отовсюду из этого крепкого, симпатичного семейного земного шарика, наполненного любовью, заботами и постоянно ощущаемой окружающими тревогой. Марк прилепился к тебе, и вы теперь повсюду шастали, шутили, смеялись, поигрывали и бормотали детские стишки — вместе, на два голоса, которые звучали как хор, русский хор в индийской экзотике. Святослав Николаевич приобнял Ваню. Посмотрел ему прямо в лицо, заглянул в глаз и почти утвердительно спросил:

— Стихи пишете... и музыку?

С. Н. водил две полуторные семьи (или Ванину полусемью) по имению. Показывал-рассказывал... Ты впервые услышал дворянскую речь — питерскую, петербургскую, анти-советскую, российскую, русскую (ныне Москва и ее мещанский говорок съел почти до конца, выел, доедает северно-русский и восточно-русский говор, распространяя по всей России аканье и мяуканье с южно-русскими протяжениями и усечениями безударных гласных. Речь С. Н. не удивила, а потрясла твой слух: щчастье, щчука и ясный, сильный «Ч», крепкая такая аффриката во всех «Что», «потому Что», «Чтобы» и т. д. (Бродский так говорил: «Что», «Чтобы» — и это было прекрасно и дореволюционно; пролетариат, рабы, ставшие господами, испоганили русскую речь, обеднили ее и лексически, и фонетически, и стилистически, и синтаксически, и фразеологически. Гибель любой империи — это прежде всего гибель коренного языка «освобожденных» народов и территорий...)

Ты запоминаешь все, что говорит и рассказывает С. Н. Вечером записываешь. Десять раз в течение двух лет вы встречаетесь с С. Н. Ты исписал целую тетрадь, которая исчезнет в первый год жизни в России после возвращения из-за бугра. Исчезнут фотографии, слайды. Но особенно жаль той толстой тетради, наполненной Рёрихом.

Ты всегда был равнодушен к Рёрихам. Картины Н. К. — холодные и неподвижные — ты не любил: земля/Земля в них исчезла, а Космос еще не пришел. Вот и стоят синие пирамиды горных вершин на фоне синего (фиолетового, голубого etc) неба, тоже несостоявшегося: небо то ли уже ушло, то ли еще не пришло. Н. К. Рёрих — это избыточная трансгрессия и постизбыточная постпустота опустевшего постмира. Да: это — Вечность. Ее репрезентация. Но — не вещество времени-вечности. Не изнанка, не шерстка, не скорлупа-кора,

не возможность жизни, смерти и любви. Но — возможность Пустоты как полного начала или абсолютного конца.

Несколько раз Иван и Юля приезжали к С. Н. сами: звонили, писали — и он приглашал. Пили чай. Обедали. Плавали в бассейне, гуляли по имению, всегда вдвоем. Без Девки Рани, когда-то кино-звезды Индии и окрестностей, а теперь полноватой, медленной и очень маленькой пожилой женщины с застекленными думой-мукой-равнодушьем глазами. С. Н. влюбился в Юлю. Ваня не удивлялся — привык. Да и внутренне он, вслед за женой, освоился от парности существования где бы то ни было (да и Юля была «свободна» — уже давно). После бассейна у Юли разболелся глаз: покраснел — что-то туда попало, налипло на глазное яблоко. Святослав Николаевич взволновался (ты был спокоен — почувствовал «бабьи игры») — и вынул соринку языком. Вылизал око жене твоей-нетвоей. («Ништяк поцелуйчик», — подумал ты, вернее: ухнул эту фразу в себя — на самое дно вещества твоего доброго и нестрашного одиночества, которое прочно встроилось в треугольное основание твоей жизни — «Стихи-музыка/Она/Некто»; Некто — это и Петя-колясочник, и пацаны из твоей разведгруппы, и Озимов, и Петя, первый после тебя любовник Юли, и Саша-рабфаковец, кореш твой, и дед с бабушкой, и Катя, и Коля, и слоненок Коля и все-все-все, кого ты любил, любишь, будешь любить за гробом своим). Ты вышел из бассейнового пространства вон — и направился к Кумирне, — беседке с божками и колоколом. Положил на каменный поднос бананы — появились обезьяны. Эти страшные и милые, некрасивые и изящные существа вели себя как вольные разведчики в свободном поиске: они тебя уважали, никогда не приставали, не попрошайничали на всей территории Индии, Цейлона (Шри-Ланки) и т. д. Они чувствовали в тебе разведчика, тоже вольного, в свободном рейде (чаще в себе, внутри себя), в поиске музыки, которую не съешь, не пощупаешь, не сломаешь, не размажешь по стенке, не расстреляешь, — которая идет к тебе навстречу, потому что ты ей нужен. Такая вот гравитация поэзии и любви. Ты бьешь в колокол и загадываешь желание: пусть через три года выйдет в свет твоя книга. Еще раз трижды качаешь колокол. Все. Дело сделано.

Талант оголяется. Талант оголяет своего носителя, снимая с него антропологические слои — кожуру человека и человечности: мы видим «гения» — и он чудовище, — одновременно и чудесен, и чудотворен, и чудо-творец, и — это нормально — он полный нечеловек, или послечеловек, или — реже — недочеловек. Приходится мысленно и духовно восстанавливать его «человеческую», «животную» форму, адекватную гениальному содержанию — таланту. Святослав Николаевич Рёрих — художник, которому удалось (природа и бог позволили) не просто сохранить человека, но и гармонично синтезировать в себе и окрест себя все стороны сложнейшей системы таланта человека, мужчины, дворянина, интеллектуала и старорежимного интеллигента. Такие люди, как правило, несчастны: они — неприятно милые люди. С. Н. не был неприятно милым человеком — он обладал мощным зрением, слухом и духом, его глаза были всегда взглядом, познающим, одобряющим и бесконечным в рамках персональной вечности культуры. Его публичность, рожденная известностью отца, матери, брата, вообще семьи, — была интимной, но интимность оставалась неизменно личностной и доброжелательной.

Однако к Ивану он относился как-то по-особенному: ему нравилась его жена. И с этим ничего не поделаешь. Их беседы, мягкие споры всегда образовывались вокруг проблемы

духовности таланта. Ваня показал ему свои стихи (и в имени, и в письмах) — С. Н. хвалил написанное рукой (вслух Ваня никогда не читал С. Н. свои стихи — но Мандельштам читал, хотя и понимал, что для С. Н. Мандельштам был, скорее, импрессионистом, чем уникальным стихотворцем, писателем и абсолютным, по Ваниному разумению, поэтом).

Между С. Н. и тобой — восемьдесят два года жизни, таланта, работы и работ этого действительно уникального существа, этого хранителя (через отца и мать, людей крупных, сверходаренных и своеобразных) России. Не СССР — но России Ваниного деда, Ивана Ивановича, России Орловых-Черминских... и — России Череповых, Озимовых, Петровых, Сидоровых, Идоровых, Доровых, Оровых, Ровых и просто Вых (о, Гоголевский Вий-Вых-Вывих времени, пространства и сознания). Лирика в двадцатом веке стала публичной, нарочито открытой и навязчивой: открытость такой лирики (не поэзии — а литературного стихотворчества) прикрывала автора, заслоняла его от модальности идеологии и идеологий, а главное — от агрессивной социальности, от коллективной эмоциональности и хорошего мышления, тавтологического, ослепшего и опустевшего. С. Н. это почти понимал. Но, как и любой другой художник (с малой, средней и большой буквы), Святослав Николаич был идеалистом. Идеалистом — как и Ваня. Идеалистом — как, исключая Некрасова Н. А., все поэты Золотого века. Ванина теория, а точнее реноминация литературно-культурных веков удивила, но, тем не менее, была если не одобрена С. Н., то уж, точно, принималась этим огромным художником как болезненный, но честно пережитый вариант: 16–18 вв. — Бронзовый век со следами налипшей на него древесины, овсов и картофеля; 19 век — Золотой, и — точка; конец 19 и начало 20 в. — Серебряный; а вот 20 век — не Свинцовый, не Железный, не Стальной, не Атомный, не Термоядерный, не Денежный, не Идеологизированный (с запашком имитационной и пустеющей философии) — но! — Алмазный, Бриллиантовый; почему? — потому, что подлинно вольных (ну, почти свободных) художников, и литераторов, особенно поэтов (не стихотворцев!) оказалось совсем немного. Мало. Редко. Это уже не золото и серебро — но алмазы. Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Хлебников, Заболоцкий и еще некоторые, полузабытые или перевспомненные. Святославу Николаевичу понравилось этимологическое наблюдение Ивана: Бог, сотворив планету (это — грубо говоря, а также и твердь небесную, и хляби, и Все на Свете), первыми создает растения, а потом уже человека и животных; значения фамилий поэтов «алмазных» содержат в себе семантические компоненты со значением «растение», выраженные прямо или потенциально. Например, «Цветаева» — «цвести»/«цвет»/«соцветие»/«цветок»; «Пастернак» — прямое название растения (травы); «Мандельштам» — «миндальное дерево»; «Хлебников» — «хлеб»/«хлеба»/«хлебные злаки» и т. д.; «Ахматова» (псевдоним) — реальная фамилия «Горенко» — от «гора», которая может быть поросшей деревьями, кустарником, травой, цветами, мхом, и т. д.; «Заболоцкий» (исходная форма «Заболотский» — место, расположенное «за болотом/болотами» и поросшее лесом, травой, кустарником, цветами и т. д.

— Что ж, голубчик Иван Васильевич, вполне убедительно и... и красиво, — резюмировал гипотезу Вани Святослав Николаич.

С. Н. начал поглядывать на Ивана то ли с сожалением, то ли с легким сочувствием, то ли слегка виновато. Юля и Ваня не избегали друг друга, но в глаза не смотрели: так, мельком, но тебе хватало и такого «стрелкового» взора; убеждение о разрыве, как ты его ни ослаблял, не истощал (и похотью в том числе), только крепло. Они теперь редко оставались один на один. Одна на одного. Один на одну. — Пара потихохоньку, но окончательно распалась. Без выяснения отношений. Без скандалов. Без «семейной аналитики». Остался лишь синтез: мир раскололся надвое — в одной половине его осталась она, в другом — он. Ты смотришь по утрам на свою бородатую морду и думаешь: «Я вчера не вернулся из боя...» Смерти в глаза не посмотришь, но себе, умирающему, поглядываешь... Посмотри себе в глаза. В глаза кончине своей... Ты ухмыляешься нарочито бодро и мерзко — паяц — и разбиваешь зеркало. Бангалор тебя добил — будто ты опять увидел двойник Кёльнского собора в глубокой, южной Азии... У смерти ни кожи, ни рожи, ни глаз — только взгляд. Взгляд смерти — прошлой, нынешней, грядущей — исходил из тебя.

Ты говоришь Святославу Николаевичу, отвечая на его вопрос «Что с Вами, Ваня?», о том, что в тебе и вокруг тебя образовался разрыв хронологический, экзистенциальный, трансгрессивный, онтологический: ты торопишься жить, но не внешне, а внутренне; все живут преимущественно (и Юля) внешне, социально, эмоционально, прагматически; но тебе наплевать на прагму — ты живешь метафизически. Ты немтырь. Ты думаешь стихи — в себя, а не в людей. Поэзия? Мы — все — говорим о литературе, и говорим оценочно, однако аксиология — неподвижна, нежива, она в параличе: «нравится — не нравится», «модно — немодно», «нужно — ненужно», «полезно — бесполезно», «модернизм — немодернизм» (и еще триста таких пар), — и никто не скажет ни слова о гармонии, об ужасном и прекрасном; куда делась оценка: «это — живопись!» или «это — стихи!». Слова и понятия «честь», «долг», «совесть», «достоинство», «талант» умирают. О «вдохновении», о «тайне», о «нравственности» — все и все молчит и молчат. Им — страшно. Это планета обывателей, потребителей, людей (еще пока) не-думающих! Не думающих ни в себя, ни окрест, ни по вертикали, ни в сердце ужаса красоты. Все стали думать в деньги, в славу, в комфорт. Твою мать!.. — С. Н. нахмурился. И вдруг улыбнулся — и нос его увеличился (и так немалый), и глаза его вырвались из пучков морщин:

— А ведь Вы, голубчик, дело говорите. Любой сколько-нибудь стоящий художник — Художник! — знает это... Но... молчит.

С. Н. приглашает Юлю и Ваню в свой заветный каменный barrack (есть разница между barrack'ом С. Н. и тем уралмашевским бараком, где ты родился). Он демонстрирует картины. Сначала нечто подражательное Николаю Константиновичу Рёриху, отцу, потом пейзажи, а затем чистый азиатский Ренуар: ню, женщины, как и у Огюста, светились! Женская нагота светносна. Иван не выдержал, вскочил с табуретки и обнял могучего старика. Рёрих смутился, но разулыбался и чуть-чуть прослезился. «Великий старик!» — подумал ты — и сказал это С. Н. глазами. Юля исчезла, не выходя из барака. Они с С. Н. остались вдвоем на две-три минуты... Картины выдвигались на рельсиках к зрителю одна

за другой. На четвертом десятке Иван устал. Вышел вон. Закурил. Вернулся — С. Н. и Юля ждали его и чай, который должен был поднести из усадьбы слуга. Ты сел на свой певучий тростниковый табурет и почувствовал, почуял, что сейчас что-то произойдет. Главное. Самое главное. Одно из того, что составляет Главное. Что?

Святослав Николаевич угощал чаем с печеньем (которое Ваня на дух не переносил, но из уважения к свету женщины на картинах С. Н. пожевал одно, мягко-твердое, с зазубринками, тающими во рту). После чая (все отпили по полчашечки — чай был заварен по-индийски, как и кофе, с кипящим и сладким молоком, — очень вкусный, как в детстве конфеты «Школьные») С. Н. сказал:

— И — последняя картина...

На холсте, размером примерно три метра на два (или более) был куст. Куст Иисуса. Огромный. Он теснил и раму, и подрамники, и всю механику выдвижения на зрителя по железной дорожке картин; он раздвигал стены и все узкое (прокатное, накатанное по рельсикам) пространство барака; он сначала давил на череп, выжимая из него немоту, изумление, ужас, движение листвы Иисусова Куста на холсте, а затем проникал в череп и раздувал его до размеров барака, сада, плантации, штата Карнатака, всей Индии, всего Индостана, Азии, Евразии — и неба! Немтырь онемел окончательно: из листвы проглядывало, светясь, лицо Иисусас оленьими глазами! Оленьи глаза Иисуса... Господибожетымой...

Ты втягиваешь в себя Иисусов Куст, и Куст вдыхает тебя в себя. Вот ужас истины и красоты...

С. Н. ведет вас к кумирне. И ты еще раз загадываешь (книга!) желание свое утробно-душевное. Потом возвращаетесь в barrack — просто посидеть, помолчать, пошептаться... После Иисусова Куста ты говоришь только шепотом. Шепотный немтырь.

Юля с Ваней гостили у Золотых и, естественно, у Рёриха ровно десять раз. Не 11 (любимое число Вани) и не 9, 12 (тоже неплохая нумерологическая семантика) — а десять. Ни два — ни полтора. Иван обычно обитал в стороне от С. Н. и Ю., которые, постоянно улыбаясь, о чем-то говорили, часто о чепухе, которая была тебя — по печени. Ты знал, что С. Н. скоро умрет. Он был крепок прошлой силой и прошедшей жизнью, родовой мощью и талантом, небывалым, огромным. С. Н. был явно крупнее себя — с Иваном, и — куда меньше себя — с Юлей. Любовь. Точнее, мерцание любви.

Однажды С. Н. рассказал историю о слонах-людях-человеках: забрела как-то на плантации семья диких хоботных, бродила, искала съестное, питалась. Рабочие что-то там строили и вырыли котлован — глубокий и узкий, видимо, под трубы или узел трубно-водоводных соединений и разъединений. И один слоненок свалился в эту четырехметровую яму... Ты вспомнил слоненка Колю Керальского — и сердце сжалось, как обезьянья мордочка, до слез внутренних, нутряных... Что делать? Взрослые слоны (слонихи, естественно: самцы из семьи изгонялись) опускали в пропасть хоботы, но все было безуспешно. Это длилось часа два. Люди стояли (с С. Н.) в стороне и не вмешивались: дикое не терпит человеческой природы, обвыкшейся в добровольной неволе. Потом вдруг альфа-самка, мама, Мать, мамаша всей семьи, повернулась к яме хвостом и начала задними столпообразными ногами сгребать, сбрасывать в яму землю. К ней присоединились все члены, членши

и члены Семьи. Земля падала на дно рукотворной пропасти, а слоненок (пусть он будет Колей-Младшим, совсем еще ребенок, малыш, крохотный слонище) стал бегать по кругу и поперек дна бездны. Через час-другой он поднялся до Семьи — и был спасен... Оказаться в яме, когда тебя засыпают землей (жесткой индийской, вулканической), бывает спасительно и для Семьи, которая умнеет, и для пострадавшего, который мудреет. Гибельное дарит ум, крепость характера и возможность порождать свободу. Порождение свободы — вот жизнь поэта и немтыря.

Юля в бассейне. С.Н. с полотенцами и горячим чаем рядом. Ты уходишь к кумирне, садишься на такую русскую-русскую лавочку и читаешь письмо из России, от Майи Волконской. «Ванечка, ты все про снег да про снег... Бедный!.. Терпи, скоро срок твой (всего-то три года) кончится... Ждем тебя!» В письме Майи прислала стихотворение Ольги Седаковой. Имя новое для Ивана. Но скоро оно для тебя станет одним из синонимов поэзии. Вольной поэзии. Неподконтрольной. Вневластной. Внесоциальной. Внеидеологической. Просто стихи. Стихи как песнь и как плач.

*В ореховых зарослях много пустых колыбелей
Умершие стали детьми и хотят чтобы с ними сидели
Чтоб их укачали и страх отогнали и песню допели
О сердце мое тебе равных не будет усни*

*И ночь надо мной и так надо мною скучает
Что падает ключ и деревья ему отвечают
И выше растут и тоскуют другими ключами
О сердце мое тебе равных не будет усни*

*Когда вы не спали вы к богу глядели в окошко
Для вас на столе прошлогодняя сохнет лепешка
О сердце мое тебе равных не будет усни*

*Бог старый старик и он вас поминает в поклоне
как будто себя поднимает на узкой ладони
Он знает смерть подойдет и лепешки не тронет
И он поднимает ладони и просит возьми*

*Усни мое сердце все камни и травы и руки
их видно вдова подняла и упала на землю разлуки
и плач утекал как вода и ответные звуки
орешник с земли поднимали как ветер одни*

*О жить это больно! Но мы поднялись и глядели
в орешник у дома где столько пустых колыбелей
Другие не смели но мы до конца дотерпели
О сердце мое тебе равных не будет усни*

*И вот я стою и деревья на мне как рубаха
Я в окна гляжу и держу на ладонях без страха
легчайшую горсть никому не обидного праха
О сердце мое тебе равных не будет усни...*

Горная колыбельная в древних Индийских горах, пьющих на юге Бенгальский океан и поднимающих — плачем — на севере небесные Гималаи, занебесный Тибет...

Лицо оленя. Глаза оленя. Глаза — очи оленя и Иисуса. Лицо — жизни, уставшей быть животной. Лицо — жизни, уставшей быть человеческой. Лицо, его дыхание святое, превращающееся в дух... Ты перечитываешь «Горную колыбельную» — и Кавказ обнимается с Тибетом, с Гималаями. Что-то толкает тебя одновременно в спину и в грудь — сильно, одномоментно: два удара — навстречу друг другу. Это и есть сердце. Сердце на месте своем. Сердце, ему равных не будет. Сердце, не спи... Ты видишь, как иные люди, люди иносветные, то ли умершие уже, или еще не рожденные ходят окрест: и в доме, и в мастерской, и в саду, и возле кумирни, и на плантациях. Ты видишь, как дед сидит по-зэковски на корточках и допивает неупиваемый зэковский чай, как, растопырив локти, умывается мать Катя над бочкой, как бабушка стоит на коленях перед иконой, упираясь в колени земли — в корни деревьев и жизни. Ты их видишь: Коля, давно упокоившийся, кормит слоненка Колю (тоже умер?!), стручками свежего сладкого гороха. Вы все пьете вечный индийский чай с молоком. Дарджилин. И ты смотришь на Н.К. Рёриха, отца С.Н., и на самого С.Н., на их узкие (особенно у отца) татарские лица, на белые-белые, белейшие узкие тюркские, азиатские бороды-бороденки. Все почти прозрачны. Почти. С.Н. не похож на Николая Рёриха... Боже, как они похожи друг на друга!.. Они не видят тебя, но знают, что ты с ними, что ты видишь их, что ты рад им. В углу залы Рахманинов. Он показывает жестами, что перед ним рояль, которого нет. Сергей Васильевич играет. Но ты знаешь, что слышишь эту музыку только ты.

Вы возвращаетесь от Рёриха в Каликат (university-campus). Мимо Майсура, мимо Индийской-Кёльнского собора — сквозь горы и по дороге, которой обинтована гряда горных вершин. Вы не разговариваете друг с другом и не смотрите друг на друга, будто едет раздвоившийся сиамо-русско-индийский близнец — мужебаб, женомуж: вместе (не всегда — пока что) и раздельно, но в странном и болезненном единстве общего несчастья, общей нежизни и общей любви, которая, как известно, никогда не кончается. Она ослабевает, провисает, как бельевой белый нерв в уралмашевском дворе (хрущёвском), она уже и не любовь, но вдруг наливается силой боли, мощью утраченной гармонии. Теперь любовь — вся — дисгармонична. В основе любой гармонии всегда побаливает дисгармония. Из тебя постоянно выходят осколки (железки крохотные, вросшие в тебя давным-давно после взрывов мин): из спины, из рук, из ног, а теперь — из души. Металлические коготки обрастают плотью и становятся шарообразными. Шарики. Их легко выковыривать

из кожи, где они хорошо видны — черные, круглые, твердые... С. Н. Рёрих, время от времени, своей антропogeометрией напоминал тебе твоего отца: взгляд из-под бровей, крепкий нос немалого размера с горбинкой, широкоплечестъ с сутулинкой (но — не с сутуlostъю), могучий и коренной, как исходная форма жизни — растение. (С отцом ты помиришься уже после развода с Юлей, после женитьбы на Лоре, девушке уралмашевской, библиотекарше — она тебя спасет от пьянства; после примирения отец — через тридцать лет! — разболеется, потеряет обе ноги и будет умолять тебя, жалко и косноязычно после инсульта, не хоронить его в коротком, детском гробу...)

Штат Керала (столица Тривандрум) — это Урал Индийский: отсюда пошли горы, моря, реки и люди. Недра Кералы едины с недрами Урала — таблица Менделеева отдыхает. Но Индия младше Урала (Шигирскому Идолу — от восьми до двенадцати тысяч лет), и горы Индии — дети гор Уральских, точнее, их остатков, но не останков. И на Урале, и в Индии постоянно чувствуешь присутствие вещества мира иного. Ты думаешь: я был там еще до своего рождения, до существования своего — я знаю *тот* мир.

Ты вспоминаешь зачитанные ветром, дождями и снегом могилы своих предков в Слободе (через пятнадцать лет ты построишь дом по соседству со Слободой — в Каменке, деревне старинной, первой на Среднем Урале, основанной в 1574 году): прадед Никанор, дед Никанор и бабушка Агриппина Николавна, — и ты неожиданно и мгновенно ощущаешь себя сначала мальчиком, знавшим их, а потом существом, человеком, веществом времени, которые существовали и жили еще до возникновения Каменки, Слободы, Демидовых и Строгановых... Это — не память — и не прапамять, это — больше, чем память, это осколки вечности шевельнулись в тебе — и ты от боли прозрел...

Вы едете на автобусе, железном, страшном — и постоянно над бездной: пропасть — пропасть — пропасть. Ты пьешь свой ром. Юля ест свои вишни и выбрасывает косточки в незастекленное окно. Вы движетесь к концу своей жизни Индийской и Семейной. Вы оба это знаете... Ты смотришь на сухой буш (блин, джунгли еще то фуфло: вот в Африке, в Анголе...). Автобус останавливается. Мальчики — налево?.. Нет: на дороге стоит одинокий огромный слон-самец и дергает хоботом бамбуки. Автобус остановился. Замер. Водитель, молодой дравидиец, выглянул в салон и сказал почти по-английски: «Вальдалифант... Мэйль. Вери биг!..» Говорил он шепотом — как бы себе, ободранному — и внутри, и снаружи — автобусу, джунглям, пассажирам (все проснулись), горам, камням и небу: «Вери биг! Вери Вальд («Wild»)!..» Затем автобус двинулся помалу вперед, как торпедный катерок — мористее, слонистее. Слон отпустил бамбук, который сразу выпрямился — стрельнул в небушко близкое. Этот «Вальдалифант» развернулся хоботом и огромными (вери хьюдж!) бивнями к игрушечному автобусику — и вдруг вспрыгнул, ударил передними ногами в англосаксонский асфальт (спасибо, Британия, за добрые, вечные дороги из красного асфальта!) и сделал три огромных шажка к машине. Водитель сдал назад — отскочил от слона метров на пятьдесят и остановился... Слон махнул хоботом слева направо и отвернулся — всем телом — к бамбуку. Автобусдохнул двигателем и тридцатью тремя глотками расцепеневших ездоков-пассажиров. Все вышли из салона — куда бежать?! Ясно, куда: девочки направо, мальчики налево... Все закурили, даже женщины, отвернувшись от мира автобусов и слонов — к горам, они курили «биди», листовой табачок, скрученный в тонкие, крохотные сигарки. Мужики засмолили мариванну, ты пыхтел

своим «офицерским» «WILLS'ом» и думал о гранатомете, которого нет. Думал о ПКТ, которого нет. Думал о КПВТ, которого нет. Думал об Ф-1, которой нет («лимонка» такая). Думал о том, какой ты гад: бедный альфа-самец слоновий — он-то в чем виноват? Это ты и вы влезли в его жизнь, в его завтрак, в его большие и долгие мысли... Ты стоишь впереди, ближе всех остальных к слону. Ты качаешь сердце влево, вправо, — поворачиваешь его то влево, то вправо, то вверх жизнью, то вниз — смертью и любовью. Ты смотришь в небо (Юля рядом, но остается внизу, в горах, в бамбуках, на красной дороге). Ты делишь свое отчаянье на три пряди: жизнь, смерть, любовь. Ты заплетаешь их в косицу, в косичку, в косу — вот твои думы, вот твое начало без конца. Вот почему у Смерти на Плече Коса!.. Ты вспоминаешь бабушку из телевизора, которую корреспондент спрашивает: «А Вы, бабушка, где живете-то, где стоит Ваша деревня — в Европе или в Азии (это на Урале, на реке Чусовой — чус-ва: быстрая вода)? Бабка морщится до упора (морщины мешают): «В Явропии. Явропейские мы...» Журналист и бабушка стоят у обелиска «Европа — Азия», оба курят... только вот слона у них нет. И бамбуков нет. И ни хрена у них нет, кроме картошки (10 соток), микрофона (один) и телекамеры (одна)...

Где ты? Что ты здесь делаешь?.. Это безумие — быть у черта на куличиках... Да, шестая командировка. Пятая была убойная. Шестая — вечная? Кругом бамбуки, индийцы... Вспоминаешь киргиза Толю Батбаева, учившегося в УрГУ на филфаке по разнарядке: 10 киргизов, 10 монголов, 10 казахов — остальные славянотюркофинноугорцы плюс кавказцы etc. Толя сдавал историю русской литературы, профессор Иван Алексеич, уважаемый и любимый (с опаской) всеми просит Толю Батбаева рассказать историю создания Пушкинского «Годунова». Толя говорит: писал Пушкин, кончил писать; вскочил и побежал к зеркалу — и ну прыгать и хлопать себя по ляжкам, покрикивая «Ай да Пушкин! Ай да сука!..» Потом Толя, получив диплом филолога, уехал домой в город Фрунзе (потом Бешкек). Через месяц-два ты встречаешь его в Свердловске (потом Екатеринбурге) — удивляешься, спрашиваешь:

— Толя, ты как оказался здесь? Что случилось? — Толя с ходу отвечает — быстро и страстно:

— Понимаешь, Ваня, живу я в Бишкеке, живу. Выхожу однажды на улицу и вижу: блин, кругом одни киргизы. Понимаешь, Ваня, одни киргизы!..

Родина? Это как? — Это больно. Всегда больно... Сразу после демобилизации вы, дембеля, были приглашены к однокласснице, родившей в браке с одноклассником мальчика. Хрущёвка-однушка. Сидите на кухне. Угощаетесь. Одариваете. Потом мамаша юная зовет вас в единственную комнату — смотреть ребенка (серебряная ложка, пупсы, погремушки, конвертик с деньжатами, то-се...). Тихо вползаете в полумрак. Мамочка (яжмать!) включает торшер. В кроватке лежит совсем-совсем малыш, весь в зеленке (диатез), головка кривоватая — отлежал, весь в какашках (бывает!)... И юная дама, свежеиспеченная мать, вдруг шепчет (в оглушительной младенческой тишине):

— Вот, блин, скажу не как мать — объективно: какой красивый ребенок!..

Ты смотришь на дикого слона, стоящего на узкой британской красной шоссейке, слон смотрит на бамбук, бамбук смотрит на небо и на каменистую землю. Ты вспоминаешь «безумную» песенку Ольги Седаковой — и плачешь.

В психбольнице

*Идет идет и думает куда
Конечно если так но у кого
ничего увидим я тебе!
Ой мамочка не бей меня не бей
Я не нарочно и давай подол
Ловить а поздно
Мать ушла
Сидит в углу качает младшую
А рядом котик небольшой
Хороший котик заведи-ка деток
Ты покачаешь люди отдохнут
Вот я тебе!
Усни мой ангелок
Но глубина ее ужасной жизни
Не засыпала на руках
Она подумала и встала
Разжала руки
И пошла
И как земля в земле лежала...*

Ты плачешь в себя, как этот слон, который должен уйти с дороги, — и уйдет, он это знает... На кладбище, где смерти нет совсем, я черный хлеб с летящим снегом ем...

Ты плачешь в себя и улыбаешься, шутишь с перепуганными индийцами. Ты умираешь в себя и одновременно воскресаешь — для спасения всех и себя, для победы над слоном, который продолжает рубать юные бамбуки. Где ж, парень, твоя семья?.. И вдруг тебя осеняет: Индостан — полуостров — находится как раз между Африкой и Индокитаем (североморские словечки «Арабия», «Черножопия», «Синай-х.е-мое», «Лаос-хрен те в нос», «Вьетнам — не приходи, не дам, или: сделаю ам-ня-ням и т. д.», «Замочу-замучаю, как Пол Пот Кампучию», «У саванны жопа гола, это, батюшки, Ангола» и т. д.) — то бишь все возвращается, правда, маршрутец иной. Но все вернулось — и окружило, и накрыло!..

Слон говорит: «Были бы у меня руки и голос, послал бы я вас подальше, муравьи в чалмах, в вакрах и в лысинах...»

Россия — Африка — Индокитай — Индия, а за Тибетом, за Гималаями — Китай. Вот твой нынешний мир. Мир невозможностей, невыносимостей и неразумностей. Мир — как Россия. Духовная некомпетентность и преступная недодуховность, недолюбовь, недожизнь, недосмерть... Слон говорит — сквозь стихи Седаковой.

*Пруд говорит
Были бы у меня руки и голос
как бы я любил тебя и лелеял
Люди знаешь жадны и всегда болеют*

*И рвут чужую одежду
Себе на повязки
Мне же ничего не нужно
Ведь нежность это выздоровленье
Положил бы я тебе руки на колени
Как комнатная зверушка
Испускался сверху
Голосом как небо...*

Прошел бы я весь чернозем небесный, продавливая его до глины, чтоб было Господу видно, где какую брать для лепки и труда — над миром сим, над Духом сим, под небом этим черноземном, осыпанным кварцевой крошкой. Не золотом и алмазом, но любовью. И нежностью.

Слон говорит. Он думает — а ты слышишь. Слон говорит — тебе. Ты берешь из сумки пятерню бананов и подходишь к нему так ровно и заметно-незаметно, тем ходом, каким уходил из Лаосского плена. Он поворачивает к тебе хобот. Глаза у него маленькие, карие, человеческие. Он берет бананы. А глаза-то без ресниц, что ли? Вот у слоненка Коли — с ресницами. Берет бананы и уходит...

Ты едешь в автобусе в Каликат. Ты едешь один. Но с Юлей. Но между вами на автобусом диванчике сидит Она и смотрит в окно:

*Плакать я хочу и плакать
Не могу как бесноватый
Некий царь больной расудок
Говорит служебным духам
Принесите что ли арфы
Приведите музыкантов...*

Ты продолжаешь, понимая и чувствуя, что это опять Седакова (обчитался, что ли?).

*Вижу
Бродит нежное внимание
собирает глубину...*

Страшно дело песнопенья...

Она подхватывает:

*Для того чей разум зорок
Зренье трезво слово твердо
И над сердцем страх Господень.*

Теперь ты — один:

*Нужно петь как слабоумный
Быстро пестро бесприютно
Нужно быть как погремушка
Отгоняющая змей...*

Она:

Ходит золото в рубахе...

Ты:

*Страшно дело песнопенья
Но оно мне тихо служит
Или я ему служу
Чудной мельничкой верчу
Золотую рукоятку
Вылетает снег и ветер
Вылетает океан
И оно подобно шлюпке
(шестивесельной?)
Настигает исчезая
Карим золотом сверкая
Над безглазой глубиной...*

И Она заканчивает, завершает этот ужас поэзии, плача и песни — эту песнь:

*Что не нами начиналось
Что закончилось не нами
Перемелет в чистой ступке
Золотые небеса...*

Ты слушаешь, потому что слышишь. Слон слушает, потому что слышит. Он и Она слушают и слышат. Ты повторяешь и повторяешь в себя, в себе Песнь в Галактической Нити Персей-Пегаса, в Комплексе Сверхскоплений Рыбы-Кит, в Местной Группе Галактик, в Галактике Млечный Путь, в Рукаве Ориона, в Солнечной системе, на планете Земля...

Автобус выезжает из времени в вечность.

Евгений СТЕПАНОВ

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2024

УРОЖАЙ-2024

Сегодня 17.09.2024. Огурцы и помидоры по-прежнему созревают в теплицах. Выращено 245 черри, 550 огурцов, 9 кабачков, 30 груш.

БЕЛОЧКА

17.09.2024. Белочка поселилась в скворечнике на моем участке. Это прекрасно, но это и большая проблема. Потому что кошка Монро захочет бедную и красивую белочку употребить на обед.

Теперь надо думать, как белочку спасать.

Так раньше я спасал синичат.

ПЕРЕДЕЛКИНО КАК ЧАСТЬ МОСКВЫ

(Текст к фильму)

Помню старое писательское Переделкино. Заповедное, дачное...

Я приезжал сюда в гости к Семёну Израилевичу Липкину и Инне Львовне Лиснянской, Евгению Александровичу Евтушенко и многим другим поэтам и прозаикам...

Сейчас здесь все по-другому. Появилось много кафешек, именных указателей-табличек, тротуарных дорожек. Стало больше цивилизации.

Как говорится, все течет, все изменяется.

Переделкино теперь — это Москва.

2024

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель, режиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и координатор портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

БЫКОВО

1.09.2024. Слышал утром 5 взрывов. Рядом с нами пострадал один дом. Об этом уже написали СМИ и соцсети. Жертв, слава Богу, нет.

ДВА МАСТЕРА

Смартфон стал плохо работать. Я слышу, что мне говорят. А меня не слышат.

Пошел к одному мастеру в нашем районе Аэропорт.

Мастер покрутил в руках смартфон и решительно вынес приговор:

— Надо микрофон менять. Будет стоить две с половиной тысячи.

Я сказал:

— Я понял. Подумаю.

Пошел — тоже в нашем районе — к другому мастеру. Тот был поприветливее.

Осмотрев телефон, успокоил меня:

— Микрофон менять не надо. Вам надо просто телефон почистить. У нас эта услуга стоит 590 рублей.

Я ответил:

— Согласен.

Через пять минут телефон работал, как новенький.

2024

Ведущий — Павел ЩЕРБАКОВ

ОБОЗРЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАЛОВ

В журнале «Новый мир» 8/2024 была напечатана подборка стихотворений поэта **Степана Султанова** «В радиоактивном свете дня».

В «постапокалиптических», почти безжизненных и ледяных стихах Степана Султанова царит сложная и величественная музыка:

Здесь была сквозная анфилада,
Здесь был Бельведерский Аполлон
И непобедимая Паллада
В череде дорических колонн,

Опирающихся на фундамент
Смолотых, спрессованных веков,
И переосмысленных в орнамент,
В листья из кладбищенских венков.

Ретардации поэтической речи в данной подборке, а, следовательно, и ее большей величавости, способствует множество довольно длинных и относительно тяжеловесных слов: *упорядоченных, меланхоличной, апокалиптическом, апоплексическом, мозаик заключений и т. п.* Во многом благодаря этим же словам и выстраивается сложный ритмический рисунок стихотворений.

Хочется выделить особо сильные строки, те, в которых отстраненный пафос доходит до своего энергетического предела:

Вздрагивает пламя на изломе
Плит, эпох, подорванных опор,
И встает в очередном проломе
Человек, застреленный в упор.

Павел Щербаков — поэт, литературный критик. Родился в 1999 году в Калининградской области. Окончил факультет управления экономики и права РАНХиГС. Студент Литературного института имени А. М. Горького. Печатался в сборнике поэзии и прозы литераторов Калининградской области «Голоса города», в альманахе «Литерра Балтика», журналах «Дети Ра», «Зарубежные записки», в газете «Литературные известия». Лауреат международного литературного конкурса «ЛиТерра БалтиКа».

Стихотворения Степана Султанова уникальны, в них нет лирического героя в привычном нам понимании, в роли этого героя выступает сам холод. Лицо поэта растворено в этом мертвом космосе, но авторская интонация говорит нам о том, что это настоящая лирика.

В каждом стихотворении этой весьма целостной подборки автор касается гибели, пустоты, распада, полного мирового опустошения:

* * *

В листья из кладбищенских венков

* * *

Тут же низведенных до распада.

* * *

Этих погибающих растений

* * *

Видно, как нисходит и восходит
Сор и пыль в космической золе.
Больше ничего не происходит
На земле.

* * *

(В желтом небе больше никого)

Подборку пронизывает образ пламени:

* * *

Остро ощущается предметность
Этого холодного огня

* * *

В апокалиптическом огне

* * *

Вздрагивает пламя на изломе

* * *

...в адском пламени заката

На мой взгляд, стихотворения Степана Султанова очень интересны, в них заключены сильная внутренняя гармония, красота и подлинность. Чувствуется аскетичное и трепетное отношение автора к каждому слову. Чего в них нет — так это простых и теплых человеческих чувств, но на таком метафизическом морозе превалировать может только одно чувство — чувство беспросветного одиночества.

В «Знамени» 8/2024 вышло новое стихотворение **Сергея Гандлевского**. На фоне многих опубликованных за последнее время авторов уровень стихового говорения Сергея Гандлевского положительно выделяется, а потому игнорировать его нельзя.

Наибольшей выразительности поэт достигает в первом катрене:

Телефон надрывался, я с места срывался
и летел на другой край Москвы.
Там веселый народ собирался —
все они на сегодня мертвы.

Самая сильная и звучная строка — *все они на сегодня мертвы*.

Одна из самых распространенных опасностей при почти абсолютно свободном владении стиховой речью (в рамках возможностей авторского голоса, конечно) — отставание поэтической энергии от этой самой речи. Это, на мой взгляд, в некоторой мере и произошло в остальной части стихотворения Сергея Гандлевского:

Месяц май, зелень, диск 33 оборота.
По-английски пижонам охота
чернокожей певице подпеть
и одобрить классическим жестом
«Во дает!»

Пой, Махалия Джексон, —
юность любит скорбеть.

И веселая скорбь во главе восседала стола
и немислимо низкую ноту брала,
оглашая дворы городские.
Но не больно-то верили те молодые
честолюбцы, красавицы, пьянь,
что, хотя дело дрянь,
но, как в песне поется, и впрямь
«Скоро кончатся беды мирские!»

Любопытные стихотворения **Дмитрия Бобылева** были опубликованы в журнале «Дружба Народов» 8/2024.

Во многом эти стихотворения типичны для большой доли современной силлаботоники, их типичность заключается прежде всего в их бесцветности. Стихотворения легкие, но чрезвычайно пустые.

Рассматривать их можно как некий образец пустопорожного, но тем не менее в них имеется некий, пусть и слабый, но звук, который, возможно, и оправдывает их существование.

Нравятся первые строки второго стихотворения:

Куда деваться в этом декабре?
Промокший двор неделю ждет рассвета.

Но есть образы, которые представляются небрежными и не вполне понятными:

В такие дни из окон упадут
Те, кто в пространство за окном поверил.

Некоторые из неточных рифм видятся мне откровенно неудачными, в особенности следующие: *рассвета – нету, сядешь – пяди, неверный – поверил.*

России дух неистребим
Сборник гражданской лирики поэтов МИД, творческих союзов, участников СВО,
жителей Самарской области и воссоединенных субъектов Российской Федерации
М.: «Вест-Консалтинг», 2024

Чувство родины в наше время изменило многим людям творчества, впрочем, отчасти это было и раньше. Индивидуализм достиг таких болезненных масштабов, что совершенно перекрыл воздух к понятиям, лежащим в духовной сфере.

В обществе потребления существование многих людей исчерпывается удовлетворением первичных потребностей, либо же потребностей, удовлетворяющих человеческое эго, и все, что вне этих потребностей, как правило, подвергается отрицанию и высмеиванию. Печальнее всего то, что это касается и тех, кто взял на себя роль творцов, то есть тех, чья жизнь в высшем своем назначении, вне всякого сомнения, предназначена служению.

Сергей Есенин в статье «Быт и искусство» писал:

«У братьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния.

У Анатоля Франса есть чудный рассказ об одном акробате, который выделял вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапедии перед Богоматерью. Этого чувства у моих братьев нет. Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть не больше, не меньше как ни на что не направленные выверты».

В наше время можно с уверенностью повторить эти строки.

Все же чувство родины возделывается с самого детства, если этого не происходит, то ни образование, ни знание манер, ни благополучная безбедная жизнь не сформируют человека, носящего в себе любовь к своей родине — как живое, вполне естественное и реально ощутимое чувство. В лучшем случае это будет мертвая конструкция, подогнанная под требования общества, и существующая только до первых серьезных катаклизмов.

А потому очень радует, что в новом сборнике стихотворений «России дух неистребим», который посвящен Специальной военной операции, так много искренних стихотворений от студентов и школьников. Например, вот сюжетное стихотворение студента МГИМО Егора Копосова:

Как много важного рутиной едкой стерто
Из нашей памяти. Ведь каждый день непрост.
...Две хрупких девушки в военных гимнастерках
Нам в наше прошлое прокладывают мост.

Слегка смущенные, но искренние взгляды
И преисполненные истины слова
Перенесли меня туда, где канонады
Сроднили в месиве железо и тела.

Где боль и голод обесценили стенанья,
Где опрокинулся от похоронки взгляд,
Где зори тихие со свадебными снами
Застыли в вечности. Где журавли летят.

Эти, пусть местами и не вполне точные, но довольно выразительные строки представляются мне искренними. Искренность, то есть подлинность, та основа, без которой никакие, даже самые технично сделанные стихи, в высшем смысле поэзией не являются.

Жизнь дипломата тоже служение, служение куда более очевидное, чем, например, служение литератора, но в нашей истории многие писатели совмещали именно эти два рода службы. Отчасти об этом — в стихотворении с историческим экскурсом пишет министр иностранных дел России Сергей Лавров:

* * *

Был посольский приказ, и послы выполняли приказы,
Чтоб удельных князей потеснее с Москвою сплотить.

.....

Пробивали пути, шла за ними Россия по следу,
Расширяя влияние и множа владенья свои.
И на этой стезе жизнь отдал не один Грибоедов,
Выполняя приказ вдалеке от Российской земли.

В поле воин один — так бывает, и это не ново.
Дипломат должен сам дать единственно верный совет,
Должен он, как поэт, находить только верное слово,
Крепко помня при том, что пророков в отечестве нет.

.....

Выручали страну Грибоедов, и Пушкин, и Тютчев —
В их словах обретала Россия сознание свое.

Будто бы о вполне очевидном в сборнике гражданской лирики пишет Евгений Степанов:

Сулят дары славянам щедро.
Хотя интересуют псов
Лишь наши земли, наши недра.

Не нужно обладать экономическим образованием, чтобы понимать такие простые вещи, но в своей наивности многие действительно не осознают этого, предполагая, что у «сулящих дары» одни лишь добродушные мотивы.

Во втором разделе сборника напечатаны стихотворения жителей Донбасса. Среди авторов много детей, то есть тех ребят, что с самых ранних лет проживают войну по-настоящему, и в подлинности чьих слов уж точно нельзя сомневаться. Как и пишут составители сборника, не все напечатанные в книге стихи безукоризненны в литературном плане, но все они написаны по велению души, от чистого сердца.

Очень важно, что в наше время выходят такие сборники, причем выходят довольно неплохим тиражом. Благодаря этому картина современной литературной жизни представляется более полной и многогранной. У авторов есть возможность поделиться своими чувствами к родине и художественно выразить свою однозначную гражданскую позицию.

Павел ЩЕРБАКОВ

Уильям Эрнест Хенли
Избранные стихотворения/Перевел Алексей ЮРЬЕВ
М.: «Вест-Консалтинг», 2024

Как мы знаем, поэзия непереводаима.

Еще Данте Алигьери в своем трактате «Пир» писал: «Да знает всякий, что гармонизированное музыкой своею не может быть переложено со своего языка на другой, без разрушения всей его сладости и гармонии».

И ведь действительно, рассматривая стихотворный перевод, мы не можем оценить то, что во многом и составляет сущность поэзии: ритмический рисунок стиха и его звук — то есть та самая гармония оригинального текста, о которой пишет Данте. Оттенки смысла оригинала тоже претерпевают неизбежную деформацию, но тем не менее, в целом, смысл нам доступен.

В основу книги переводов избранных стихотворений Уильяма Эрнеста Хенли легла его последняя и наиболее полная книга — *Poems by William Ernest Henley*.

Переводчик Алексей Юрьев знакомит нас с отдельными стихотворениями из следующих циклов британского поэта: «В госпитале», «Редкости», «Эхо», «Рифмы и ритмы». Сквозной темой всей книги является тема смерти.

В первом разделе книги автор мастерски обыгрывает эту тему, связывает ее с гнетущей атмосферой госпиталя:

Вот госпиталь — сер, тих и стар,
Здесь жизнь со смертью
два торговца дружных.

Обстановка в госпитале до предела предметна и реалистична:

Смятые пластыри в неказистой жестянке,
Ножницы, банки аптечные, корпия.

* * *

Рядом мальчик сопит
и дрожит от медного купороса
Старый бродяга толкует о своих старых язвах.

Наблюдая за всей этой весьма безрадостной картиной, поэт делает неутешительный вывод:

Жизнь (так думаю я) —
ошибка грубая и позор.

Цикл имеет связный и линейный сюжет, на его протяжении лирический герой проходит свой путь от входа в госпиталь и ожидания операции, до самой операции, послеоперационных ощущений и выписки из учреждения.

В одном из стихотворений цикла смерть явно романтизируется:

От унылого зимнего отчаяния,
От золотистой летней усталости
Смерть, любовник Жизни
Освобождает нас навсегда.

Несмотря на весь трагизм цикла, его безвоздушность и страдания лирического героя, завершается он на весьма позитивной ноте, жизнь оказывается сильнее смерти:

И мне снова хорошо...
Август обжигает и выжигает,
Но мое сердце полно апрельской
Кровью и свежестью.

В тихий вечер
Я ленивый, тоскующий, мечтающий...
Мечтающий, а далекая шарманка
Насвистывает мне песенки

* * *

Я сижу, и экипаж катит меня
В чудесный мир

В цикле «Редкости» представлены баллады. В балладах автор не только рассуждает о таких вечных темах, как юность и старость, любовь и судьба, но и передает свое ощущение жизни, пишет о летних днях и ночах, в деталях описывает природу и окружающий быт:

И ломоть дыни влагой истекает,
А в темной маслобойне творог возлежит,
Клубника в сливках утопает —
Я думаю о них, чтоб жить!

Без смерти тоже не обошлось. На мой взгляд, одна из наиболее выразительных баллад цикла посвящена именно ей:

Помпезность, гордость, королевский вид?
Пыл праздника и битвы раж?
Шарм, юность, грация — расцвета миг?
Все, как один, уходят в мрак.

В каждой балладе есть заключительная строфа, она в сконцентрированном виде передает сюжетную и смысловую суть баллады. Например, в балладе «Об умерших актерах» заключительная строфа следующая:

И вместе исчезают вмиг
И принц с героем, и их раб,
Так пыль с соломой гонит вихрь, —
Все, как один, уходят в мрак

В цикле «Эхо» помещены короткие и элегичные стихотворения, в них много моря, воспоминаний и поисков покоя:

* * *

Волнуется море, гремит
В славном и радостном хоре

* * *

Мирт и розы, розы,
Свет солнца, ласточки полет,
Приходит сон, желание уходит
И память вслед идет!

* * *

Пока спим, близится смерть, и не глядя на часы!..
Дайте мне спать.

В цикле «Рифмы и ритмы» затрагиваются темы величия мироздания, космоса, и, конечно же, автор и в этот раз не забывает о воспетой им смерти:

* * *

щедрость солнца
Ужасного, огромного, невообразимого
Бесконечное дружелюбие моря —
Их больше нет — больше нет.

* * *

О Смерть! О Перемена! О Время!

На мрачном фоне стихотворений Уильяма Эрнеста Хенли, в которых царствует усыпляющая и всепоглощающая Смерть, ярче и полнее звучат его строки жизнеутверждающие. Во многом благодаря этому контрасту и создается ощущение проникновения автором в самые глубины бытия.

Павел ЩЕРБАКОВ

Тираж 500 экз.
Отпечатано
в ООО «Вест-Консалтинг»,
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,
стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12.